

«ОБЪЕКТИВНОСТЬ» СОЦИАЛЬНО-НАУЧНОГО И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ¹

При появлении нового журнала² в области социальных наук, а тем более социальной политики или при изменении состава его редакции у нас обычно прежде всего спрашивают о его «тенденции». Мы также не можем не ответить на этот вопрос и постараемся, здесь в дополнение к замечаниям в нашем введении более принципиально заострить саму постановку данной проблемы. Тем самым представляется возможным осветить своеобразие ряда аспектов «исследования в области социальных наук» так, как мы его понимаем; несмотря на то что речь пойдет о вещах «само собой разумеющихся», впрочем, может быть, именно поэтому, это может оказаться полезным если не специалисту, то хотя бы читателю, менее причастному к практике научной работы.

Наряду с расширением нашего знания о «социальных условиях всех стран», то есть о фактах социальной жизни, основной целью «Архива» с момента его возникновения было также воспитание способности суждения о *практических проблемах* и, следовательно, в очень незначительной степени, в какой ученые в качестве частных лиц могут способствовать реализации такой цели, — критика социально-политической практики вплоть до факторов законодательного характера. Вместе с тем, однако,

[345]

«Архив» с самого начала стремился быть чисто научным журналом, пользующимся только средствами *научного* исследования. Невольно возникает вопрос, как же сочесть данную цель с применением одних только упомянутых средств? Какое значение может иметь то, что на страницах данного журнала речь пойдет о мерах законодательства и управления или о практических советах в этой области? Какие *нормы* могут быть положены в основу таких суждений? Какова *значимость* оценок, которые предлагает в своих суждениях или кладет в основу своих практических предложений автор? В каком смысле можно считать, что он не выходит за рамки *научного* исследования, ведь признаком научного познания является «объективная» значимость его выводов, то есть истина. Мы выскажем сначала нашу точку зрения по *этому* поводу, чтобы затем перейти к вопросу о том, в каком смысле *вообще есть* «объективно значимые истины» в науках о культуре? Данный вопрос нельзя обойти ввиду постоянного изменения точек зрения и острой борьбы вокруг элементарнейших на первый взгляд проблем нашей науки, таких, как применяемые ею методы исследования, образование понятий и их значимость. Мы не предлагаем решения, а попытаемся указать на те проблемы, которым должен будет уделить внимание наш журнал, если он хочет оправдать поставленную им цель в прошлом и сохранив ее в будущем.

I

Все мы знаем, что наша наука, как и другие науки (за исключением разве что политической истории), занимающиеся институтами и процессами культуры, исторически вышла из *практических* точек зрения. Ее ближайшая и первоначально единственная цель заключалась в разработке оценочных суждений об определенных политико-экономических мероприятиях государства. Она была «техникой» в том же смысле, в каком таковой в области медицины являются клинические дисциплины. Известно, как такое положение постепенно изменялось, хотя *принципиальное* разъединение в познании «сущего» и «долженствующего быть сущим» не произошло. Этому способствовало как мнение, что хозяйственные процессы подчинены неизменным законам природы, так и мнение, что они подчинены однозначному принципу эволюции и, сле-

[346]

довательно, «*долженствующее быть сущим*» совпадает в одном случае с неизменно «сущим», в другом — с неизбежно «становящимся». С пробуждением интереса к истории в нашей науке

утвердилось сочетание этического эволюционизма с историческим релятивизмом, которое поставило перед собой цель лишить этические нормы их формального характера, чтобы посредством включения всей совокупности культурных ценностей в область «нравственного» определить *содержание* последнюю и тем самым поднять политическую экономию до уровня «этической науки» на эмпирической основе. Поставив на всей совокупности всевозможных культурных идеалов штамп «нравственного», сторонники данного направления уничтожили специфическое значение этических императивов, ничего не выиграв в смысле «объективной» значимости этих идеалов. Здесь не может и не должно быть принципиального размежевания различных точек зрения. Мы считаем нужным указать лишь на тот факт, что и сегодня эта недостаточно ясная позиция сохраняется, что и теперь в кругах практических деятелей *распространено не вполне понятно представление*, согласно которому политическая экономия разрабатывает — и должна разрабатывать *оценочные суждения*, отправляясь от чисто «экономического мировоззрения».

Наш журнал, представляющий специальную эмпирическую дисциплину, вынужден (это следует сразу же подчеркнуть) *принципиально* занять *отрицательную* позицию по данному вопросу, ибо мы придерживаемся мнения, что задачей эмпирической науки не может быть создание обязательных норм и идеалов, из которых потом будут выведены рецепты для практической деятельности?

Какие же выводы можно сделать из сказанного? Безусловно, это не означает, что оценочные суждения вообще *не должны присутствовать* в научной дискуссии, поскольку в конечном счете они основаны на определенных идеалах и поэтому «субъективны» по своим истокам. Ведь вся практика и сама цель нашего журнала постоянно дезавуировали бы данный тезис. Критика не останавливается перед оценочными суждениями. Вопрос заключается в следующем в чем состоит значение научной критики идеалов и оценочных суждений, какова ее цель? Этот вопрос требует более детального рассмотрения.

Размышление о последних элементах осмысленных человеческих действий всегда связано с категориями

[347]

«цели» и «средства». Мы *in concreto** стремимся к чемунибудь либо «из-за его собственной ценности», либо рассматриваемого как средство к достижению некоей цели. Научному исследованию прежде всего и безусловно доступна проблема соответствия средств поставленной цели. Поскольку мы (в границах нашего знания) способны установить, *какие* средства соответствуют (и какие не соответствуют) данной цели, мы можем тем самым взвесить шансы на то, в какой мере с помощью определенных средств, имеющихся в нашем распоряжении, вообще возможно достигнуть определенной цели и одно временно косвенным образом подвергнуть критике, исходя из исторической ситуации, саму постановку цели охарактеризовав ее как практически осмысленную или лишенную смысла в данных условиях. Мы можем также установить, *если* осуществление намеченной цели представляется нам возможным конечно, только в рамках нашего знания на каждом данном этапе, — *какие следствия* будет иметь применение требуемых средств *наряду* с эвентуальным достижением поставленной цели, поскольку все происходящее в мире взаимосвязано. *Затем* мы предоставляем действующему лицу возможность взвесить, каково будет соотношение этих непредусмотренных следствий с предусмотренными им следствиями своего поведения, то есть даем ответ на вопрос, какой «ценой» будет достигнута поставленная цель, какой удар предположительно может быть нанесен *другим* ценностям. Поскольку в подавляющем большинстве случаев каждая цель достигается такого рода ценой или может быть достигнута такой ценой, то все люди, обладающие чувством ответственности, не могут игнорировать необходимость взвесить, каково будет соотношение цели и следствий определенных действий, а сделать это возможным — одна из важнейших функций критики посредством той *техники*, которую мы здесь рассматриваем. Что же касается решения, принятого на основе такого взвешивания, то это уже составляет задачу *не* науки, а

* Конкретно (лат.) Прим. персев.

самого человека, действующего в силу своих желаний; он взвешивает и совершает выбор между ценностями, о которых идет речь, так, как ему велят его совесть и его мировоззрение. Наука может лишь довести до его *сознания*, что *всякое* действие и, конечно, в определенных обстоятельствах

[348]

ствах также и бездействие сводятся в итоге к решению занять *определенную* ценностную *позицию*, а тем самым (что в наши дни особенно охотно не замечают), как правило, противостоять другим ценностям. Сделать выбор — личное дело каждого.

В наших силах только дать человеку *знания*, которые помогут ему понять *значение* того, к чему он стремится; научить его видеть цели, которые его привлекают и между которыми он делает выбор в их взаимосвязи и значении, прежде всего посредством выявления «идей», лежащих, фактически или предположительно, в основе конкретной цели и логической их связи в дальнейшей эволюции. Ведь не может быть никакого сомнения в том, что одна из существеннейших задач каждой науки о культуре и связанной с ней жизни людей — открыть духовному проникновению и пониманию суть тех «идей», вокруг которых действительно или предположительно шла и до сих пор идет борьба. Это не выходит за рамки науки, стремящейся к «мысленному упорядочению эмпирической действительности», хотя средства, которые служат такому истолкованию духовных ценностей, весьма далеки от «индукции» в обычном понимании данного слова. Правда, подобная задача, по крайней мере частично, претупает границы строгой экономической науки в ее принятом разделении на определенные специальные отрасли здесь речь идет о задачах *социальной философии*. Ибо власть идей в социальной жизни на протяжении всей истории была — и продолжает оставаться — столь сильной, что наш журнал не может игнорировать эту проблему; более того, она всегда будет входить в круг его важнейших задач.

Научное рассмотрение оценочных суждений состоит не только в том, чтобы способствовать пониманию и сопереживанию поставленных целей и лежащих в их основе идеалов, но и в том, чтобы научить критически судить о них. Однако *эта* критика может быть только диалектической по своей природе, то есть способна дать только формально-логическое суждение о материале, который лежит в основе исторических данных оценочных суждений и идей, проверку идеалов в аспекте того, насколько в поставленной индивидом цели отсутствует внутренняя *противоречивость*. Такая критика, ставя перед собой упомянутую цель, может помочь индивиду постичь сущность тех последних аксиом, которые лежат в основе его жела-

[349]

ний, важнейшие параметры ценностей, из которых бессознательно исходит или должен был бы исходить если хочет быть последовательным. Довести до *сознания* эти параметры, которые находят свое выражение в конкретных оценочных суждениях, последнее, что может совершить научная критика, не вторгаясь в область спекуляции. *Должен* ли выносящий свое суждение субъект признать свою причастность к упомянутым ценностным параметрам, решает он сам. Это дело его волеи и совести, а не проблема опытного знания.

Эмпирическая наука никого не может научить тому что он *должен* делать, она указывает только на то что он *может*, а при известных обстоятельствах на то, что он *хочет* совершить. Верно, что мировоззрения различных людей постоянно вторгаются в сферу наших наук, даже в нашу научную аргументацию, внося в нее туман неопределенности, что вследствие этого по-разному оценивается убедительность научных доводов (даже там, где речь идет об установлении простых каузальных связей между фактами) в зависимости от того, как результаты исследования влияют на шансы реализовать свои идеалы, то есть увеличивается ли или уменьшается в таком случае возможность осуществить определенные желания. В этом отношении редакторам и сотрудникам нашего журнала также «ничто человеческое не чуждо». Однако одно дело — признание человеческой слабости и совсем другое — вера в то, что политическая экономия является «этической» наукой и что в ее задачу входит создание идеалов на основе своего собственного материала или конкретных норм посредством применения к этому материалу общих этических императивов. Верно и то, что мы ощущаем как нечто «*объективно*» ценностное именно те глубочайшие пласты «личности», те высшие, последние оценочные суждения,

которые определяют наше поведение, придают смысл и значение нашей жизни. Ведь руководствоваться ими мы можем лишь в том случае, если они представляются нам значимыми, проистекающими из высших ценностей жизни, если они формируются в борьбе с противостоящими им жизненными явлениями. Конечно, достоинство «личности» состоит в том, что для нее существуют ценности, с которыми она соотносит свою жизнь, пусть даже в отдельных случаях они заключены в глубинах индивидуального духа. Тогда индивиду важно «выразить себя» в *таких* интересах, чью *значимость* он

[350]

требует признать как ценность, как идею, с которой он соотносит свои действия. Попытка утвердить свои оценочные суждения вовне имеет смысл лишь в том случае, если этому предпослана вера в ценности. *Однако судить о значимости этих ценностей*—Дело веры, быть может, также задача спекулятивного рассмотрения и толкования жизни и мира с точки зрения их смысла, но уже, безусловно, не предмет эмпирической науки в том смысле, как мы ее здесь понимаем. Для такого разделения важен совсем не предмет-эмпирически выявляемый факт, что (как это часто предполагают) на протяжении истории эти последние цели меняются и оспариваются. Ведь самые непреложные положения нашего теоретического - естественнонаучного или математического знания совершенно так же, как углубление и рафинирование совести людей, — продукт культуры. Если мы непосредственно обратимся к практическим проблемам экономической и социальной политики (в обычном значении слова), то окажется, правда, что есть бесчисленное множество *отдельных* практических *вопросов*, при решении которых люди в полном согласии исходят из уверенности в том, что определенные цели сами собой разумеются, что они им заданы - достаточно упомянуть о чрезвычайных кредитах, о конкретных задачах социальной гигиены, благотворительности, о таких мерах, как фабричная инспекция, арбитраж, биржа труда, значительная часть законов по охране труда, во всех этих случаях вопрос сводится, (по-видимому, во всяком случае) только к *средствам* для достижения цели. Однако даже если мы примем видимость очевидности за истину (за что наука всегда расплачивается) и будем рассматривать конфликты, к которым обязательно приведет попытка практически реализовать такие цели, как чисто технические вопросы целесообразности (что в целом ряде случаев было бы заблуждением), мы очень скоро заметим, что даже эта *видимость* очевидности регулятивных ценностных масштабов сразу же исчезает, как только мы переходим от конкретных проблем благотворительности и полицейского порядка к вопросам экономической и социальной *политики*. Ведь признаком социально политического характера проблемы и является именно тот факт, что она не может быть решена на основе чисто технических соображений, вытекающих из твердо установленных целей, что *спор* может и *должен* идти о самих параметрах ценности, ибо

[351]

такая проблема поднимается до уровня общих вопросов *культуры*. Причем сталкиваются в таком споре отнюдь не только «классовые интересы» (как мы теперь склонны думать), *но и мировоззрения*, впрочем, это ни в коей степени не умаляет справедливости того, что мировоззрение каждого человека наряду с другими факторами также в очень значительной степени находится, безусловно под влиянием того, в какой степени он связан с «интересами своего класса» (если уж принять здесь это лишь кажущееся однозначным понятие) Одно, во всяком случае, не подлежит сомнению чем «более общий» характер носит проблема, о которой идет речь (здесь это означает чем дальше проникает ее культурное *значение*), тем менее она доступна однозначному решению на материале опытного знания, тем большую роль играют последние сугубо личные аксиомы веры и ценностных идей. Некоторые ученые все еще наивно толкуют о том, что задача практической социальной науки состоит прежде всего в разработке «принципа» и аргументации его научной значимости, на основании чего можно будет вывести однозначные нормы для решения конкретных практических проблем. Сколь ни необходимо в социологии «принципиальное» рассмотрение практических проблем, то есть сведение неосознанно воспринятых ценностных суждений к их идейному содержанию, сколь ни серьезно намерение нашего журнала уделить им особое внимание создание общего знаменателя для наших

практических проблем в виде неких общезначимых последних идеалов не может быть задачей ни нашей, ни вообще какой бы то ни было эмпирической науки, она оказалась бы не только практически неразрешимой, но и по своему существу абсурдной. И как бы ни относиться к основанию или характеру убедительности этических императивов, из них, как из норм конкретно обусловленных действий *отдельного* человека, безусловно, не может быть выведено однозначно обязательное *культурное содержание*, и эта невозможность тем безусловнее, чем шире содержание, о котором идет речь. Лишь позитивные религии — точнее, догматические по своему характеру *секты* — могут придавать содержанию *культурных ценностей* достоинство безусловно значимых *этических* заповедей. За их пределами культурные идеалы, которые индивид *хочет* осуществить и этические обязательства, которые он *должен* выполнить, принципиально отличаются друг от друга. Судьбы

[352]

культурной эпохи, «вкусившей» плод от древа познания, состоит в необходимости понимания, что *смысл* мироздания не раскрывается исследованием, каким бы совершенным оно ни было, что мы сами призваны создать этот смысл, что «мировоззрения» никогда не могут быть продуктом развивающегося опытного знания и, следовательно, но, высшие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена находят свое выражение лишь в борьбе с другими идеалами, столь же священными для других, как наши для нас.

Только оптимистический синкретизм, возникающий иногда как следствие релятивистского понимания исторического развития, может позволить себе игнорировать страшную серьезность такого положения вещей либо с помощью теоретических выкладок, либо уклоняясь от его практических последствий. Само собой разумеется, что в отдельном случае субъективным долгом практического политика может быть как посредничество между сторонниками противоречивых мнений, так и переход на сторону кого-нибудь из них. Однако с научной «объективностью» это ничего общего не имеет «Средняя линия» *ни на йоту не ближе к научной истине*, чем идеалы самых крайних правых или левых партий. Интересы науки в конечном итоге меньше всего играют роль там, где пытаются не замечать неприятные факты и жизненные реальности во всей их остроте «Архив» считает своей неперменной задачей бороться с опасным самообманом, будто можно получить практические нормы, обладающие *научной значимостью*, посредством синтеза ряда партийных точек зрения или построения их равно действующей, ибо такая позиция, стремящаяся часто к релятивированию и маскировке собственных ценностных масштабов, представляет собой значительно большую опасность для объективного исследования, чем прежняя наивная вера партий в научную «доказуемость» их догм. В способности *различать* знание и оценочное суждение, в выполнении своего научного долга — видеть истину, отраженную в фактах, и долга своей практической деятельности — отстаивать свои идеалы, в этом состоит наша ближайшая задача.

Неодолимым различием остается на все времена именно *это* для нас важнее всего, вызывает ли аргументация к нашему чувству, к нашей способности вдохновляться конкретными практическими целями, формами и

[353]

содержанием *культуры*, а если речь идет о значимости этических норм, к нашей совести, *или* она вызывает к нашей способности и потребности *мысленно упорядочить* эмпирическую действительность таким способом, который может притязать на *значимость* в качестве эмпирической истины. Данное положение остается в силе не смотря на то что (как мы увидим далее) упомянутые высшие «ценности» в области *практического* интереса имеют и всегда будут иметь решающее значение для *направления*, в котором пойдет упорядочивающая деятельность мышления в области наук о культуре. Правилен и всегда останется таковым тот факт, что методически корректная научная аргументация в области социальных наук если она хочет достигнуть своей цели должна быть признана правильной и китайцем, точнее должна к этому, во всяком случае, *стремиться* пусть даже она из за недостатка материала полностью не может достигнуть указанной цели. Далее, *логический* анализ идеала, его содержания и последних аксиом, вы явление следующих из него логических и практических выводов должны быть, если

аргументация убедительна, значимыми и для китайца, хотя он может быть «глух» к нашим этическим императивам, может и, конечно, будет отвергать самый идеал и проистекающие из него конкретные *оценки*, не опровергая при этом ценность научного анализа. Само собой разумеется, что наш журнал не будет игнорировать постоянные и неотвратимые попытки однозначно определять *смысл* культурной жизни. Напротив, ведь такие попытки составляют важнейший продукт именно этой культурной жизни, а подчас в соответствующих условиях входят в число ее важнейших движущих сил. Вот почему мы будем внимательно следить за ходом «социально философских» рассуждений и в *этом* смысле. Более того, мы весьма далеки от пред взятого мнения, согласно которому рассмотрение культурной жизни, выходящее за рамки теоретического упорядочения эмпирически данного и пытающееся метафизически истолковать мир, уже в силу этого не *может* решать задачи, поставленные в сфере познания. Вопрос в какой области будут находиться подобные задачи, относится к проблематике теории познания, а поэтому должен и может в данном случае остаться нерешенным до *нашего* исследования нам важно установить одно: журнал по социальным наукам, в нашем понимании, должен

[354]

поскольку он занимается наукой, быть той сферой, где ищут истину, которая претендует на то, чтобы (мы повторяем наш пример) и в восприятии китайца обладать значимостью мысленного упорядочения эмпирической действительности.

Конечно, редакция журнала не может раз и навсегда запретить самой себе и своим сотрудникам высказывать в форме оценочных суждений идеалы, которые их вдохновляют. Однако из этого проистекают два серьезных обязательства. Одно из них заключается в том, чтобы в каждый данный момент со всей отчетливостью доводить до своего сознания и до сознания своих читателей, *каковы* те масштабы, которые они прилагают к измерению действительности и из которых выводится оценочное. Суждение, вместо того чтобы — как это часто происходит — посредством неоправданного смещения идеалов самого различного рода пытаться избежать конфликтов, «предоставив каждому что нибудь». Если строго следовать этому требованию, то вынесение определенного практического суждения может быть не только безвредным, но даже полезным, более того, необходимым в чисто научных интересах. Так, в научной критике законодательных и других практических предложений выявление мотивов законодателя или идеалов критикуемого писателя во всем их значении в ряде случаев может быть дано в наглядной, понятной форме только посредством *конфронтации* положенных ими в основу ценностей с *другими* и лучше всего, конечно, с их собственными ценностями. Каждая рациональная *оценка* чужого *воления* может быть только критикой, которая исходит из собственных «мировоззренческих» позиций, боре с *чужим* идеалом возможно, только если исходить из *собственного* идеала. Если в отдельном случае последняя ценностная аксиома, лежащая в основе практического воления, должна быть не только установлена и подвергнута научному анализу, но и наглядно показана в ее отношении к *другим* ценностным аксиомам, то необходимо дать «позитивную» критику последних в связном изложении.

Таким образом, на страницах нашего журнала, в частности при обсуждении законов, наряду с социальной *наукой* — мысленным упорядочением фактов, право голоса неминуемо должно быть предоставлено и социальной *политике* - изложению определенных идеалов. Однако мы ни в коей мере не помышляем о том, чтобы выдавать

[355]

подобные дискуссии за «науку», и будем тщательно следить, чтобы такого рода смешение и путаница не происходили. В противном случае это уже не *наука*. Поэтому второе фундаментальное требование научной объективности заключается в том, чтобы отчетливо пояснить читателям (и, повторяем опять, прежде всего самим себе) *что* (и *где*) мыслящий исследователь умалчивает, уступая место водящему человеку, *где* аргументы обращены к рассудку и *где* к чувству. Постоянное смешение научного толкования фактов и оценивающих размышлений остается, правда, самой распространенной, но и самой вредной особенностью исследований в области нашей науки. Все сказанное здесь направлено против такого *смешения*,

но отнюдь не против верности идеалам. *Отсутствие убеждений и научная «объективность»* ни в какой степени не родственны друг другу. «Архив» никогда не был — по крайней мере по своему намерению — и не должен быть впредь ареной полемики с определенными политическими или социально-политическими партиями, на его страницах не вербуются сторонники или противники политических или социально-политических идеалов, для подобной цели существуют другие органы. Специфика журнала с момента его возникновения состояла и, поскольку это зависит от редакции, всегда будет состоять в том, что на его страницах в рамках чисто научного исследования встречаются ярые политические противники «Архив» не был в прошлом «социалистическим органом» и не будет впредь органом «буржуазным». В число его сотрудников беспрепятственно может входить каждый, кто готов участвовать в научной дискуссии. Журнал не может быть ареной «возражений», реплик и ответов на них, но он никого, в том числе и своих сотрудников и редакторов, не защищает от объективной научной критики, какой бы резкой она ни была. Тот, кому данные условия не под ходят, кто полагает, что сотрудничать с людьми, идеалы которых не совпадают с его собственными, невозможно и в области научного знания, пусть лучше остается в стороне.

Однако нельзя не признать (мы не хотим впасть в самообман), что в настоящее время такое требование, к сожалению, связано с большими практическими трудностями, чем представляется на первый взгляд. Во первых, возможность открыто обмениваться мнениями с своими противниками на нейтральной почве (обществен-

[356]

ной или идейной), к сожалению, как мы уже указывали, повсюду, а в условиях Германии, как нам известно из опыта, особенно, наталкивается на психологические барьеры. Данный факт, будучи признаком фанатизма и партийной ограниченности, неразвитости политической культуры, уже сам по себе должен вызывать серьезное противодействие, а для журнала такого типа, как наш, он становится еще опаснее, поскольку в области социальных наук толчком к постановке научных проблем, как правило, что известно из опыта, служат *практические* «вопросы», таким образом, простое признание того, что определенная научная проблема существует, находится в прямой связи с направленностью волеия ныне живущих людей. Поэтому на страницах журнала, вызванного к жизни общей заинтересованностью в конкретной проблеме, будут постоянно встречаться люди, чей личный интерес к данной проблеме объясняется тем, что определенные конкретные условия находятся, как им представляется, в противоречии с теми идеальными ценностями, в которые они верят, или угрожают им. Близость родственных идеалов объединит тогда постоянных сотрудников журнала и привлечет новых людей, это придаст журналу определенный «характер», по крайней мере при рассмотрении практических проблем социальной *политики*, ибо таково неизбежное следствие сотрудничества людей, обладающих живой восприимчивостью, оценочная позиция которых по отношению к проблемам чисто теоретического характера никогда не может быть полностью устранена; в критике же *практических* предложений и мероприятий эта позиция находит при указанных пред посылках — свое законное выражение. «Архив» стал выходить в свет в период, когда определенные практические проблемы, связанные с «рабочим вопросом» в унаследованном нами смысле, занимали первое место в дискуссии "о вопросах социальных наук. Те лица, которые связывали с интересующими журнал проблемами высшие и решающие для них ценностные идеи и поэтому стали его постоянными сотрудниками, были по той же причине сторонниками понимания культуры, полностью или частично аналогичного указанным ценностным идеям. Всем известно, что журнал, категорически отрицавший, что он преследует определенную «тенденцию», декларируя с этой целью строгое ограничение чисто «научными» методами настойчиво приглашая в качестве сотрудников «пред

[357]

ставителей всех политических партий», тем не менее носил такой «характер», о котором шла речь выше. Подобная направленность создавалась постоянными сотрудниками журнала. Этих людей, при всем различии их взглядов, объединяла общая цель, которую они видели в сохранении физического здоровья рабочих, в возможности способствовать большему

распространению в рабочей среде материальных и духовных благ нашей культуры; средством для этого они считали сочетание государственного вмешательства в сферу материальной заинтересованности с продолжением свободного развития существующего государственного и правового порядка. Каковы бы ни были их взгляды на формирование общественного устройства в будущем, для *настоящего* времени они принимали капиталистическую систему, и не потому, что считали ее лучше предшествующих ей форм общественного устройства, а потому, что верили в ее практическую неизбежность и полагали, что все попытки вести с ней решительную борьбу приведут не к большему приобщению рабочего класса к достижениям культуры, а к замедлению данного процесса. В условиях, сложившихся в последнее время в Германии (подробно пояснять их природу здесь незачем), этого нельзя было избежать тогда, нельзя избежать и теперь. Более того, именно это обстоятельство прямо стимулировало успех научной дискуссии и всесторонность участия в ней и явилось для нашего журнала едва ли не фактором силы, а в сложившейся ситуации, может быть, даже одним из оснований его права на существование.

Не подлежит сомнению, что утверждение такого «характера» научного журнала *может* явиться угрозой его объективности и научности и *должно* было бы действительно явиться таковой, если бы подбор сотрудников велся преднамеренно однотипно — в этом случае создание такого «характера» было бы практически равносильно наличию «тенденции». Редакция журнала вполне осознает ответственность, которую возлагает на нее такое положение дел. Она не предполагает ни планомерно изменять характер «Архива», ни искусственно консервировать его посредством намеренного ограничения круга сотрудников учеными определенными партийными взглядами. Редакция принимает характер журнала как нечто данное в ожидании его дальнейшей «эволюции». *Как* его характер сложится в будущем и *как* он, быть может,

[358]

преобразуется вследствие неизбежного расширения круга наших сотрудников, будет в первую очередь зависеть от тех лиц, которые вступят в этот круг, намереваясь служить науке, привыкнут к предъявляемым им требованиям и воспримут их раз и навсегда. Зависит это также от расширения *проблематики*, рассмотрение которой журнал ставит своей целью.

Последнее замечание подводит нас к доселе еще не рассмотренному вопросу об *ограничении предмета* нашего исследования. На него также нельзя ответить, не поставив и здесь вопрос о природе познавательной цели в области социальных наук. До сих пор, принципиально разделяя «оценочные суждения» и «опытное знание», мы исходили из предпосылки, что в области социальных наук действительно бытует безусловно значимый тип познания, то есть мысленного упорядочения эмпирической действительности. Эта предпосылка теперь сама становится для нас проблемой в той мере, в какой нам надлежит определить, в чем же *может* состоять в нашей области объективная «значимость» истины, к которой мы стремимся. Каждый, кто наблюдает за постоянным изменением «точек зрения» в борьбе методов, «основных понятий» и предпосылок, за постоянным преобразованием используемых «понятий», кто видит, какая пропасть, кажущаяся неодолимой, все еще разделяет теоретическое и историческое видение (один экзаменовавшийся в Вене студент утверждал, отчаянно жалуясь, что есть «*две* политические экономии»), поймет, что данная проблема не выдумана, а действительно существует. Что же мы называем объективностью? Именно *этот* вопрос мы попытаемся здесь разъяснить.

II

С момента своего возникновения журнал «Архив» рассматривал исследуемые им объекты как *социально-экономические* явления. Хотя мы и не видим смысла в том, чтобы давать здесь определение понятий и границ отдельных наук, мы тем не менее считаем необходимым пояснить в самой общей форме, что это означает.

Тот факт, что наше физическое существование и в равной степени удовлетворение наших самых высоких идеальных потребностей повсюду наталкивается на количественную ограниченность и качественную недостаточ-

ность необходимых внешних средств, что для такого удовлетворения требуется планомерная подготовка, работа, борьба с силами природы и объединение людей в обществе, это обстоятельство является — в самом общем определении — основополагающим моментом, с которым связаны все явления, именуемые нами «социально-экономическими» в самом широком смысле данного понятия. Качество явления, позволяющее считать его «социально-экономическим», не есть нечто, присущее ему как таковому «объективно». Оно обусловлено направленностью нашего познавательного *интереса*, формирующейся в рамках специфического культурного значения, которое мы придаем тому или иному событию в каждом отдельном случае. Во всех случаях, когда явление культурной жизни в тех частях своего своеобразия, на которых основывается для нас его специфическое *значение*, непосредственно или опосредствованно уходит своими корнями в упомянутую сферу, оно содержит или, во всяком случае, может в данной ситуации содержать *проблему* социальной науки, то есть задачу дисциплины, предметом которой служит раскрытие всего значения названной основополагающей сферы.

Социально-экономическую проблематику мы можем делить на события и комплексы таких норм, институтов и т. п., культурное значение которых в существенной для нас части состоит в их экономической стороне, которые серьезно нас интересуют только *под этим* углом зрения, — примером могут служить события на бирже или в банковском деле. Подобное обычно происходит (хотя и не обязательно) тогда, когда речь идет об институтах, *преднамеренно* созданных или используемых для осуществления какой-либо экономической цели. Такие объекты нашего познания можно в узком смысле назвать «экономическими» процессами или институтами. К ним присоединяются другие, которые — как, например, события *религиозной* жизни, — безусловно, в первую очередь интересуют нас не под углом зрения их экономического значения и не из-за этого, но которые в определенных обстоятельствах обретают значение под этим углом зрения, так как они оказывают *воздействие*, интересующее нас с экономической точки зрения, а именно «экономически релевантные» явления. И наконец, в числе *не* «экономических» в нашем понимании явлений есть такие явления, экономическое воздействие которых вообще не

представляет для нас интереса или представляет интерес в весьма незначительной степени, как, например, направленность художественного вкуса определенной эпохи. Однако явления такого рода в ряде своих значительных специфических сторон могут в свою очередь иногда испытывать *влияние* экономических мотивов — в наше время, например, большее или меньшее влияние социального расслоения в той части общества, которая интересуется искусством; это — экономически *обусловленные* явления. Так, например, комплекс отношений между людьми, норм и определяемых этими нормами связей, именуемых нами «государством», есть явление «экономическое» под углом зрения его финансового устройства. В той мере, в какой государство оказывает влияние на хозяйственную жизнь посредством своей законодательной функции или другим образом (причем и тогда, когда оно сознательно руководствуется в своем поведении совсем иными, отнюдь не экономическими мотивами), оно «экономически релевантно»; и наконец, в той мере, в какой его поведение и специфика определяются и в других — не только «экономических» — аспектах также и экономическими мотивами, оно «экономически обусловлено». Из сказанного явствует, что, с одной стороны, сфера «экономических» явлений не стабильна и не обладает твердыми границами, с другой — что «экономические» аспекты явления отнюдь не «обусловлены *только* экономически» и оказывают не *только* «экономическое влияние», что вообще явление носит экономический характер лишь в той мере и *лишь* до тех пор, пока наш *интерес* направлен исключительно на то *значение*, которое оно имеет для материальной борьбы за существование.

Наш журнал, как и социально-экономическая наука вообще со времен Маркса и Рошера, занимается не только «экономическими», но и «экономически релевантными» и «экономически обусловленными» явлениями. Сфера подобных объектов охватывает (сохраняя свою неста-

бильность, зависящую от направленности нашего интереса) всю совокупность культурных процессов. Специфические экономические мотивы, то есть мотивы, коренящиеся в своей значимой для нас специфике в упомянутой выше основополагающей сфере, действуют повсюду, где удовлетворение, пусть даже самой нематериальной потребности, связано с применением *ограниченных* внешних средств. Их мощь повсюду определяла и прозе)

[361]

образовывала не только формы удовлетворения культурных потребностей, в том числе и наиболее глубоких, но и само их содержание. Косвенное влияние социальных отношений, институтов и группировок людей, испытывающих давление «материальных» интересов, распространяется (часто неосознанно) на все области культуры без исключения, вплоть до тончайших нюансов эстетического и религиозного чувства. События повседневной жизни в не меньшей степени, чем «исторические» события в области высокой политики, коллективные и массовые явления, а также «отдельные» действия государственных мужей или индивидуальные свершения в области литературы и искусства, являются объектом их влияния, они «экономически обусловлены». С другой стороны, совокупность всех явлений и условий жизни в рамках исторически данной культуры воздействует на формирование материальных потребностей, на способ их удовлетворения, на образование групп материальных интересов, на средства осуществления их власти, а тем самым и на характер «экономического развития», то есть становится «экономически релевантной». В той мере, в какой наша наука сводит в ходе каузального регрессивного движения *экономические* явления культуры к индивидуальным причинам — экономическим или неэкономическим по своему характеру, — она стремится к «историческому» познанию. В той мере, в какой она прослеживает *один* специфический элемент явлений культуры, элемент экономический, в его культурном значении, в рамках самых различных культурных связей, она стремится к *интерпретации* истории под специфическим углом зрения и создает некую частичную картину, *предварительное* исследование для полного исторического познания культуры.

Хотя экономическая *проблема* возникает и не повсюду, где экономические моменты выступают как причина или следствие, — ведь возникает она только там, где *проблемой* становится именно значение этих факторов и где с точностью установить его можно только методами социально-экономической науки, — но область социально-экономического исследования тем не менее остается почти необозримой.

Наш журнал уже раньше ограничил сферу своей деятельности и отказался от целого ряда очень важных специальных отраслей нашей науки, таких, как дескриптив-

[362]

ная экономика, история хозяйства в узком смысле слова и статистика. Передано другим органам также изучение вопросов финансовой техники и технических проблем — образования рынка и ценообразования в современном меновом хозяйстве. Областью исследования «Архива» с момента его создания были определенные конstellации интересов и конфликты в их сегодняшнем значении и в их историческом становлении, возникшие вследствие ведущей роли в хозяйстве современных культурных стран инвестируемого капитала. При этом редакция журнала не ограничивала круг своих интересов практическими и эволюционно историческими проблемами, связанными с «социальным вопросом» в узком смысле слова, то есть отношением современного рабочего класса к существующему общественному строю. Правда, одной из ее основных задач должно было стать выявление научных корней распространившегося в 80-х годах XIX в. интереса именно к этому специальному вопросу. Однако чем в большей степени практическое рассмотрение условий труда становилось предметом законодательной деятельности и публичных дискуссий и у нас, тем больше центр тяжести научной работы перемещался в сторону установления более общих связей, в которые входят и эти проблемы, что ставило перед нами задачу дать анализ *всех* культурных проблем, созданных своеобразием экономической основы нашей культуры и поэтому современных по своей специфике. Вскоре журнал действительно начал исторически, статистически и теоретически исследовать различные как «экономически релевантные», так и «экономически обусловленные» стороны жизни и других

крупных классов современных культурных народов и их взаимоотношения. И если мы теперь определяем как непосредственную область нашего журнала научное исследование *общего культурного значения социально-экономической структуры совместной жизни людей* и исторические формы ее организации, то мы лишь делаем выводы из сложившейся направленности журнала. Именно это, и ничто другое, мы имели в виду, назвав наш журнал «Архивом социальных наук». Это наименование охватывает историческое и теоретическое изучение тех проблем, практическое решение которых является делом «социальной *политики*») в самом широком смысле слова. Мы считаем себя вправе применять термин «социальный» в том его значении, которое определяется конкрет-

[363]

ными проблемами современности. Если называть «науками о культуре» те дисциплины, которые рассматривают события человеческой жизни под углом зрения их *культурного значения*, то социальная наука в нашем понимании относится к данной категории. Скоро мы увидим, какие принципиальные выводы из этого следуют.

Нет сомнения в том, что выделение *социально-экономического* аспекта культурной жизни существенно ограничивает наши темы. Нам, конечно, скажут, что экономическая или, как ее не совсем точно называют, «материалистическая» точка зрения, с которой здесь будет рассматриваться культурная жизнь, носит «односторонний» характер. Это справедливо, но такая односторонность преднамеренна. Убеждение в том, что задача прогрессивного научного исследования состоит в устранении «односторонности» экономического рассмотрения посредством расширения его до границ *общей* социальной науки, свидетельствует о непонимании того, что «социальная» точка зрения, то есть изучение связи между людьми, позволяет с достаточной определенностью разграничить научные проблемы лишь в том случае, если эта точка зрения характеризуется каким-либо особым содержательным предикатом. В противном случае ее объектом окажется не только предмет филологии или истории церкви, но и вообще всех дисциплин, занимающихся таким важнейшим конститутивным элементом культурной жизни, как государство, и такой важнейшей формой его нормативного регулирования, как право. То, что социально-экономическое исследование занимается «социальными» отношениями, в такой же степени не может служить основанием для того, чтобы видеть в нем необходимую стадию в развитии «общественных наук» в целом, как то, что оно занимается явлениями жизни, не превращает его в часть биологии, или то, что оно изучает процессы на одной из планет, не превращает его в часть будущей, более разработанной и достоверной, астрономии. В основе деления наук лежат не «фактические» связи *«вещей»*, а *«мысленные»* связи *проблем*: там, где с помощью нового метода исследуется новая проблема и тем самым обнаруживаются истины, открывающие новые точки зрения, возникает новая «наука».

И не случайно, когда мы проверяем возможность применения понятия «социального», как будто общего по своему смыслу, то оказывается, что его значение носит

[364]

совершенно особый, специфически окрашенный, хотя в большинстве случаев и достаточно неопределенный характер. В действительности его всеобщность — следствие именно этой его неопределенности. Взятое в своем «общем» значении, оно не дает специфических *точек зрения*, которые могли бы осветить *значение* определенных элементов культуры.

Отказываясь от устаревшего мнения, будто всю совокупность явлений культуры можно *дедущировать* из констелляций «материальных» интересов в качестве их продукта или функции, мы тем не менее полагаем, что *анализ социальных явлений и культурных процессов* под углом зрения их *экономической* обусловленности и их влияния был и — при осторожном свободном от догматизма применении — останется на все обозримое время творческим и плодотворным научным принципом. Так называемое «материалистическое понимание истории» в качестве *«мировоззрения»* или общего знаменателя в каузальном объяснении исторической действительности следует самым решительным образом отвергнуть; однако экономическое

толкование истории является одной из наиболее существенных целей нашего журнала. Это требует дальнейшего пояснения.

Так называемое «материалистическое понимание истории» в *старом* гениально-примитивном смысле «Манифеста Коммунистической партии» господствует теперь только в сознании любителей и дилетантов. В их среде все еще бытует своеобразное представление, которое состоит в том, что их потребность в каузальной связи может быть удовлетворена только в том случае, если при объяснении какого-либо исторического явления, где бы то ни было и как бы то ни было, обнаруживается, или как будто обнаруживается, роль экономических факторов. В этом случае они довольствуются самыми шаткими гипотезами и самыми общими фразами, поскольку имеется в виду их догматическая потребность видеть в «движущих силах» экономики «подлинный», единственно «истинный», «в конечном счете всегда решающий» фактор. Впрочем, это не является чем-то исключительным. Почти все науки, от филологии до биологии, время от времени претендуют на то, что они создают не только специальное знание, но и «мировоззрение». Под влиянием огромного культурного значения *современных* экономических преобразований, и в частности господствую-

[365]

щего значения «рабочего вопроса», к этому естественным образом соскальзывал неискоренимый монизм каждого некритического сознания. Теперь, когда борьба наций за мировое господство в области политики и торговли становится все более острой, та же черта проявляется в антропологии. Ведь вера в то, что все исторические события в «конечном итоге» определяются игрой врожденных «расовых качеств», получила широкое распространение. Некритичное описание «народного характера» заменило еще более некритичное создание собственных «общественных теорий» на «естественнонаучной» основе. Мы будем тщательно следить в нашем журнале за развитием антропологического исследования в той мере, в какой оно имеет значение для наших точек зрения. Надо надеяться, что такое состояние науки, при котором возможно каузальное сведение культурных событий к «расе», свидетельствующее лишь об отсутствии у нас подлинных знаний — подобно тому как прежде объяснение находили в «среде», а до этого в «условиях времени», — будет постепенно преодолено посредством строгих методов профессиональных ученых. До настоящего времени работе специалистов больше всего мешало представление ревностных дилетантов, будто они могут дать для понимания *культуры* нечто специфически иное и более существенное, чем расширение возможности уверенно сводить отдельные *конкретные* явления культуры исторической действительности к их *конкретным*, исторически данным причинам с помощью *неопровержимого*, полученного в ходе наблюдения со специфических точек зрения материала. ТольцЬ в той мере, в какой они могут предоставить нам эго, их выводы имеют для нас интерес и квалифицируют «расовую биологию» как нечто большее, чем продукт присущей нашему времени лихорадочной жажды создавать новые теории.

Так же обстоит дело с экономической интерпретацией исторического процесса. Если после периода безграничной переоценки указанной интерпретации теперь приходится едва ли не опасаться того, что ее научная значимость *недооценивается*, то это следствие беспримерной некритичности, которая лежала в основе экономической интерпретации действительности в качестве «универсального» метода дедукции всех явлений культуры (то есть всего того, что в них для нас существенно) к экономическим факторам., то есть тем самым рассматриваемых

[366]

как в конечном итоге экономически обусловленные. В наши дни логическая форма этой интерпретации бывает разной. Если чисто экономическое объяснение наталкивается на трудности, то существует множество способов сохранить его общезначимость в качестве основного причинного момента. Один из них состоит в том, что все явления исторической действительности, которые *не* могут быть выведены из экономических мотивов, именно *поэтому* считаются *незначительными* в научном смысле, «случайностью». Другой способ состоит в том, что понятие «экономического» расширяется до таких пределов, когда все человеческие интересы, каким бы то ни было образом связанные с внешними средствами, вводятся в названное

понятие. Если исторически установлено, что реакция на две в экономическом отношении *одинаковые* ситуации была тем не менее *различной* — из-за различия политических, религиозных, климатических и множества других неэкономических детерминантов, — то для сохранения превосходства экономического фактора все остальные моменты сводятся к исторически случайным «условиям», в которых экономические мотивы действуют в качестве «причин». Очевидно, однако, что все эти «случайные» с экономической точки зрения моменты совершенно так же, как экономические, следуют своим собственным законам и что для того рассмотрения, которое исследует *их* специфическую значимость, *экономические* «условия» в таком же смысле «исторически случайны», как случайны с экономической точки зрения другие «условия». Излюбленный способ спасти, невзирая на это, исключительную значимость экономического фактора состоит в том, что константное действие отдельных элементов культурной жизни рассматривается в рамках каузальной или функциональной *зависимости* одного элемента от других, вернее, всех других от одного, от экономического. Если какой-либо *не* хозяйственный институт осуществлял исторически определенную «функцию» на службе экономических классовых интересов, то есть служил им, если, например, определенные религиозные институты могут быть использованы и используются как «черная полиция», то считается, что такой институт был создан только для этой функции, или—совершенно метафизически — утверждается, что на него наложила отпечаток коренящаяся в экономике «тенденция развития».

[367]

В наше время специалисты не нуждаются в пояснении того, что *это* толкование цели экономического анализа культуры было отчасти следствием определенной исторической конstellации, направлявшей свой научный интерес на определенные экономически обусловленные проблемы культуры, отчасти отражением в науке неумемного административного патриотизма и что теперь оно по меньшей мере устарело. Сведение к *одним* экономическим причинам нельзя считать в каком бы то ни было смысле исчерпывающим *ни в одной* области культуры, в том числе и в области «хозяйственных» процессов. В принципе история *банковского* дела какого-либо народа, в которой объяснение построено только на экономических мотивах, столь же невозможна, как «объяснение» Сикстинской мадонны, выведенное из социально-экономических основ культурной жизни времени ее возникновения; экономическое объяснение носит в принципе ничуть не более исчерпывающий характер, чем выведение капитализма из тех или иных преобразований религиозного сознания, игравших определенную роль в генезисе капиталистического духа, или выведение какого-либо политического образования из географических условий среды. Во *всех* этих случаях решающим для степени значимости, которую следует придавать экономическим условиям, является то, к какому типу причин *следует сводить* те специфические элементы данного явления, которым мы в отдельном случае придаем значение, считаем для нас важными. Право *одностороннего* анализа культурной действительности под каким-либо специфическим «углом зрения» — в нашем случае под углом зрения ее экономической обусловленности — уже чисто методически проистекает из того, что привычная направленность внимания на воздействие качественно однородных причинных категорий и постоянное применение одного и того же понятийно-методического аппарата дает исследователю все преимущества разделения труда. Этот анализ нельзя считать «произвольным», пока он оправдан своим результатом, то есть пока он дает знание связей, которые оказываются *ценными* для каузального сведения исторических событий к их конкретным причинам. *Однако* «односторонность» и недейственность чисто экономической интерпретации исторических явлений составляет лишь частный случай принципа, важного для культурной действительности в целом. Пояснить логичес-

[368]

кую основу и общие методические выводы этого — главная цель дальнейшего изложения.

Не существует совершенно «объективного» научного анализа культурной жизни или (что, возможно, означает нечто более узкое, но для нашей цели, безусловно, не существенно иное)

«социальных явлений», *независимого* от особых и «односторонних» точек зрения, в соответствии с которыми они избраны в качестве объекта исследования, подвергнуты анализу и расчленены (что может быть высказано или молча допущено, осознанно или неосознанно); это объясняется своеобразием познавательной цели любого исследования в области социальных наук, которое стремится выйти за рамки чисто *формального* рассмотрения *норм* — правовых или конвенциональных — социальной жизни.

Социальная наука, которой *мы* хотим заниматься, — *наука о действительности*. Мы стремимся понять окружающую нас действительную жизнь в *ее своеобразии* — взаимосвязь и культурную *значимость* отдельных ее явлений в их нынешнем облике, а также причины того, что они исторически сложились именно так, а не иначе. Между тем как только мы пытаемся осмыслить образ, в котором жизнь непосредственно предстает перед нами, она предлагает нам бесконечное многообразие явлений, возникающих и исчезающих последовательно или одновременно «внутри» и «вне» *нас*. Абсолютная бесконечность такого многообразия остается неизменной в своей интенсивности и в том случае, когда мы изолированно рассматриваем отдельный ее «объект» (например, конкретный акт обмена), как только мы делаем серьезную попытку хотя бы только *исчерпывающе* описать это «единичное» явление во всех его индивидуальных компонентах, не говоря уже о том, чтобы постигнуть его в его каузальной обусловленности. Поэтому всякое мысленное познание бесконечной действительности конечным человеческим духом основано на молчаливой предпосылке, что в каждом данном случае предметом научного познания может быть только конечная *часть* действительности, что только ее следует считать «существенной», то есть «достойной знания». По какому же принципу вычленяется эта часть? Долгое время предполагали, что и в науках о культуре решающий признак в конечном итоге следует искать в «закономерной» повторяемости определенных причинных связей. То, что содержат в себе «законы»,

[369]

которые мы способны различить в необозримом многообразии смен явлений, должно быть — с этой точки зрения — единственно «существенным» для науки. Как только мы установили «закономерность» причинной связи, будь то средствами исторической индукции в качестве безусловно значимой, или сделали ее непосредственно зримой очевидностью для нашего внутреннего опыта — каждой найденной таким образом формуле подчиняется любое количество однородных явлений. Та часть индивидуальной действительности, которая остается непонятой после вычленения «закономерного», рассматривается либо как не подвергнутый еще научному анализу остаток, который впоследствии в ходе усовершенствования системы «законов» войдет в нее, либо это просто игнорируют как нечто «случайное» и именно *поэтому* несущественное для науки, *поскольку* оно не допускает «понимания с помощью законов», *следовательно*, не относится к рассматриваемому «типу» явлений и может быть лишь объектом «праздного любопытства». Таким образом, даже представители исторической школы все время возвращаются к тому, что идеалом всякого, в том числе и исторического, познания (пусть даже этот идеал перемещен в далекое будущее) является система научных положений, из которой может быть «дедуцирована» действительность. Один известный естествовед высказал предположение, что таким фактически недостижимым идеалом подобного «препарирования» культурной действительности можно считать «*астрономическое*» познание жизненных процессов. Приложим и мы свои усилия, несмотря на то что указанный предмет уже неоднократно привлекал к себе внимание, и остановимся несколько конкретнее на данной теме. Прежде всего бросается в глаза, что «астрономическое» познание, о котором идет речь, совсем не есть познание законов, что «законы», которые здесь используются, взяты в качестве *предпосылок* исследования из других наук, в частности из механики. В самом же познании ставится вопрос: к какому *индивидуальному* результату приводит действие этих законов на *индивидуально* структурированную *конstellацию*, ибо эти индивидуальные конstellации обладают для нас *значимостью*. Каждая индивидуальная конstellация, которую нам «объясняет» или предсказывает астрономическое знание, может быть, конечно, каузально объяснена только как следствие другой, предшествующей

[370]

ей, столь же индивидуальной констелляции; и как бы далеко мы ни проникали в густой туман далекого прошлого, действительность, для которой значимы законы, всегда остается одинаково индивидуальной и в одинаковой степени невыводимой из законов. «Изначальное» космическое «состояние», которое не имело бы индивидуального характера или имело бы его в меньшей степени, чем космическая действительность настоящего времени, конечно, явная бессмыслица. Однако разве в области нашей науки не обнаруживаются следы подобных представлений то в виде открытий естественного права, то в виде верифицированных на основе изучения жизни «первобытных народов» предположений о некоем «исконном состоянии» свободных от исторических случайностей социально-экономических отношений типа «примитивного аграрного коммунизма», «сексуального промискуитета» и т. д., из которых затем в виде некоего грехопадения в конкретность возникает индивидуальное историческое развитие?

Отправным пунктом интереса в области социальных наук служит, разумеется, *действительная*, то есть индивидуальная, структура окружающей нас социокультурной жизни в ее универсальной, но тем самым, конечно, не теряющей своей индивидуальности связи и в ее становлении из других, также индивидуальных по своей структуре культур. Очевидно, здесь мы имеем дело с такой же ситуацией, которую выше пытались обрисовать с помощью астрономии, пользуясь этим примером как пограничным случаем (обычный прием логиков), только теперь специфика объекта еще определеннее. Если в астрономии наш интерес направлен только на чисто *количественные*, доступные точному измерению связи между небесными телами, то в социальных науках нас прежде всего интересует *качественная* окраска событий. К тому же в социальных науках речь идет о роли *духовных* процессов, «*понять*» которую в сопереживании — совсем иная по своей специфике задача, чем та, которая может быть разрешена (даже если исследователь к этому стремится) с помощью точных формул естественных наук. Тем не менее такое различие оказывается не столь принципиальным, как представляется на первый взгляд. Ведь естественные науки — если оставить в стороне чистую механику — также не могут обойтись без качественного аспекта: с другой стороны, и в нашей специаль-

[371]

ности бытует мнение (правда, неверное), что фундаментальное по крайней мере для нашей культуры явление товарно-денежного обращения допускает применение количественных методов и *поэтому* может быть постигнуто с помощью законов. И наконец, будут ли отнесены к законам и те закономерности, которые не могут быть выражены в числах, поскольку к ним неприменимы количественные методы, зависит от того, насколько узким или широким окажется понятие «закона». Что же касается особой роли «духовных» мотивов, то она, во всяком случае, не исключает установления *правил* рационального поведения; до сих пор еще бытует мнение, будто задача *психологии* заключается в том, чтобы играть для отдельных «наук о духе» роль, близкую математике, расчленяя сложные явления социальной жизни на их психические условия и следствия и сводя эти явления к наиболее простым психическим факторам, которые должны быть классифицированы по типам и исследованы в их функциональных связях. Тем самым была бы создана если не «механика», то хотя бы «химия» социальной жизни в ее психических основах. Мы не будем здесь решать, дадут ли когда-либо подобные исследования ценные или — что отнюдь не то же самое — приемлемые для наук о *культуре* результаты. Однако для вопроса, может ли быть посредством выявления закономерной повторяемости достигнута *цель* социально-экономического познания в нашем понимании, то есть познание действительности в ее культурном *значении* и каузальной связи, это не имеет ни малейшего значения. Допустим, что когда-либо, будь то с помощью психологических или любых иных методов, удалось бы проанализировать все известные и все мыслимые в будущем причинные связи явлений совместной жизни людей и свести их к каким-либо простым последним «факторам», затем с помощью невероятной казуистики понятий и строгих, значимых в своей закономерности правил исчерпывающе их осмыслить, — что это могло бы значить для познания *исторически* данной культуры или даже какого-либо отдельного ее явления, например капитализма в процессе его

становления и его культурном значении? В качестве *средства* познания — не более и не менее чем справочник по соединениям органической химии для *биогенетического* исследования животного и растительного мира. В том и другом случае, безусловно, была бы проделана важная и полезная предварительная

[372]

работа. Однако в том и другом случае из подобных «законов» и «факторов» не могла бы быть *дедуцирована* реальность жизни, и совсем не потому, что в жизненных явлениях заключены еще какие-либо более высокие, таинственные «силы» (доминанты, «энтелехии» и как бы они ни назывались) — это вопрос особый, — но просто потому, что для понимания действительности нам важна *констелляция*, в которой мы находим те (гипотетические!) «факторы», сгруппированные в историческое, *значимое* для нас явление культуры, и потому, что, если бы мы захотели «каузально объяснить» такую индивидуальную группировку, нам неизбежно пришлось бы обратиться к другим, столь же индивидуальным группировкам, с помощью которых мы, пользуясь теми (конечно, гипотетическими!) понятиями «закона», дали бы ее «объяснение». Установить упомянутые (гипотетические!) «законы» и «факторы» было бы для нас лишь *первой* задачей среди множества других, которые должна были бы привести к желаемому результату. Второй задачей было бы проведение анализа и упорядоченного изображения исторически данной индивидуальной группировки тех «факторов» и их обусловленного этим конкретного, в своем роде *значимого* взаимодействия, и прежде всего *пояснение* основания и характера этой значимости. Решить вторую задачу можно, только используя предварительные данные, полученные в результате решения первой, но сама по себе она совершенно новая и *самостоятельная* по своему типу задача. Третья задача состояла бы в том, чтобы познать, уходя в далекое прошлое, становление отдельных, значимых для *настоящего* индивидуальных свойств этих группировок, их историческое объяснение из предшествующих, также индивидуальных констелляций. И наконец, мыслимая четвертая задача — в оценке возможных констелляций в будущем.[^]

Нет сомнения в том, что для реализации всех названных целей наличие ясных понятий и знания таких (гипотетических) «законов» было бы весьма ценным средством познания, но только средством; более того, в этом смысле они совершенно необходимы. Однако, даже используя такую их функцию, мы в *определенный* решительный момент обнаруживаем границу их значения и, установив последнюю, приходим к выводу о безусловном своеобразии исследования в области наук о культуре. Мы назвали «науками о культуре» такие дисциплины, которые

[373]

стремятся познать жизненные явления в их культурном *значении*. *Значение* же явления культуры и причина этого значения не могут быть выведены, обоснованы и пояснены с помощью системы законов и понятий, какой бы совершенной она ни была, так как это значение предпо- лагает соотнесение явлений культуры с *идеями ценности*. Понятие культуры — *ценностное понятие*. Эмпирическая реальность *есть* для нас «культура» потому, что мы соотносим ее с ценностными идеями (и в той мере, в какой мы это делаем); культура охватывает те — и *только* те — компоненты действительности, которые в силу упомянутого отнесения к ценности становятся значимыми для нас. Ничтожная часть индивидуальной действительности окрашивается нашим интересом, обусловленным ценностными идеями, лишь она имеет для нас значение, и вызвано это тем, что в ней обнаруживаются связи, *важные* для нас вследствие их соотнесенности с ценностными идеями. Только поэтому — и поскольку это имеет место — данный компонент действительности в его индивидуальном своеобразии представляет для нас познавательный интерес. Однако определить, *что* именно для нас значимо, никакое «непредвзятое» исследование эмпирически данного не может. Напротив, установление значимого для нас и есть предпосылка, в силу которой нечто становится *предметом* исследования. Значимое как таковое не совпадает, конечно, ни с одним законом как таковым, и тем меньше, чем более общезначим этот закон. Ведь специфическое значение, которое имеет для нас компонент действительности, заключено совсем *не* в тех его связях, которые общи для него и многих других. Отнесение действительности к

ценностным идеям, придающим ей значимость, выявление и упорядочение окрашенных этим компонентом действительности с точки зрения их культурного значения — нечто совершенно несовместимое с гетерогенным ему анализом действительности посредством законов и упорядочением ее в общих понятиях. Эти два вида мыслительного упорядочения реальности не находятся в обязательной логической взаимосвязи. Они могут иногда в каком-либо отдельном случае совпадать, однако следует всячески остерегаться чрезвычайно опасного в своем последствии заблуждения, будто подобное случайное совпадение меняет что-либо в их принципиальном различии по существу. Культурное значение какого-либо явления, например обмена в товарно-денежном

[374]

хозяйстве, *может* состоять в том, что оно принимает массовый характер; и таков действительно фундаментальный компонент культурной жизни нашего времени. В этом случае задача исследователя состоит именно в том, чтобы сделать понятным культурное значение того исторического факта, что упомянутое явление играет именно эту роль, дать каузальное объяснение его исторического возникновения. Исследование *общих* черт обмена как такового и *техники* денежного обращения в товарно-денежном хозяйстве—очень важная (и необходимая!) *подготовительная* работа. Однако оно не только не дает ответа на вопрос, каким же образом исторически обмен достиг своего нынешнего фундаментального значения, но не объясняет прежде всего того, что интересует нас в первую очередь, — *культурного значения* денежного хозяйства, что вообще только и представляет для нас интерес в технике денежного обращения, из-за чего вообще в наши дни существует наука, изучающая этот предмет; ответ на такой вопрос не может быть выведен ни из одного общего «закона». *Типовые признаки* обмена, купли-продажи и т. п. интересуют юриста; наша же задача — дать анализ *культурного значения* того исторического факта, что обмен стал теперь явлением массового характера. Когда речь идет об объяснении данного явления, и мы стремимся понять, чем же социально-экономические отношения нашей культуры *отличаются* от аналогичных явлений культур древности, где обмен обладал совершенно теми же типовыми качествами; когда мы, следовательно, пытаемся понять, в чем же состоит значение «денежного хозяйства», тогда в исследование вторгаются логические принципы, совершенно гетерогенные по своему происхождению: мы, правда, пользуемся в качестве *средства* изображения теми понятиями, которые предоставляет нам изучение типовых элементов массовых явлений экономики, в той мере, в какой в них содержатся значимые компоненты нашей культуры. Однако каким бы точным ни было изложение этих понятий и законов, мы тем самым не только не достигнем своей цели, но и самый вопрос, что же должно служить материалом для образования типовых понятий, вообще не может быть решен «непредвзято», а только в зависимости от *значения*, которое имеют для культуры определенные компоненты бесконечного многообразия, именуемого нами «денежным обращением». Ведь мы стремимся к познанию

[375]

исторического, то есть *значимого* в индивидуальном *своеобразии* явления. И решающий момент заключается в следующем: лишь в том случае, если мы исходим из предпосылок, что *значима* только *конечная* часть бесконечной полноты явлений, идея познания *индивидуальных* явлений может вообще обрести логический смысл. Даже при всеохватывающем знании всего происходящего нас поставил бы в тупик вопрос: как вообще *возможно каузальное объяснение индивидуального факта*, если даже любое *описание* наименьшего отрезка действительности никогда нельзя мыслить исчерпывающим? Число и характер причин, определивших какое-либо индивидуальное событие, всегда *бесконечно*, а в самих вещах нет признака, который позволил бы вычленивать из них единственно важную часть. Серьезная попытка «непредвзятого» познания действительности привела бы только к хаосу «экзистенциальных суждений» о бесчисленном количестве индивидуальных восприятий. Однако возможность такого результата иллюзорна, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что в действительности каждое отдельное восприятие состоит из бесконечного множества компонентов, которые ни при каких обстоя-

тельствах не могут быть исчерпывающе отражены в суждениях о восприятии. Порядок в этот хаос вносит *только* то обстоятельство, что интерес и *значение* имеет для нас в каждом случае лишь часть индивидуальной действительности, так как только она соотносится с *ценностными идеями культуры*, которые мы прилагаем к действительности. Поэтому только определенные стороны бесконечных в своем многообразии отдельных явлений, те, которым мы приписываем общее *культурное значение*, представляют для нас познавательную ценность, только они являются предметом каузального объяснения. Однако и в каузальном объяснении обнаруживается та же сложность: *исчерпывающее* каузальное сведение какого бы то ни было конкретного явления во всей *полноте* его действительных свойств не только практически невозможно, но и бессмысленно. Мы вычленим лишь те причины, которые в отдельном случае могут быть *сведены* к «*существенным*» компонентам события: там, где речь идет об *индивидуальности* явления, каузальный вопрос — вопрос не о *законах*, а о конкретных каузальных *связях*, не о том, под какую формулу следует подвести явление в качестве частного случая, а о том, к какой индивидуаль-

[376]

ной конstellляции его следует свести; другими словами, это вопрос сведения. Повсюду, где речь идет о каузальном объяснении «явления культуры», об «*историческом индивидууме*» (мы пользуемся здесь термином, который начинает входить в методологию нашей науки и в своей точной формулировке уже принят в логике), знание *законов* причинной обусловленности не может быть *целью* и является только *средством* исследования. Знание законов облегчает нам произвести сведение компонентов явлений, обладающих в своей индивидуальности культурной значимостью, к их конкретным причинам. В той мере — и только в той мере, — в какой знание законов способствует этому, применение его существенно в познании индивидуальных связей. И чем «более общи», то есть абстрактны, законы, тем менее они применимы для каузального сведения *индивидуальных* явлений, а тем самым косвенно и для понимания значения культурных процессов.

Какой же вывод можно сделать из всего сказанного? Разумеется, это не означает, что в области наук о культуре знание *общего*, образование абстрактных родовых понятий, знание закономерности и попытка формулировать связи на основе «законов» вообще не имеют научного оправдания. Напротив, если каузальное познание историка есть *сведение* конкретных результатов к их конкретным причинам, то *значимость* сведения какого-либо индивидуального результата к его причинам без применения «номологического» знания, то есть знания законов каузальных связей, вообще *немыслима*. Следует ли приписывать отдельному индивидуальному компоненту реальной связи *in concrete* каузальное значение в осуществлении того результата, о каузальном объяснении которого идет речь, можно в случае сомнения решить, *только* если мы оценим воздействие, которого мы обычно ждем в соответствии с *общими законами* от данного компонента связи и от других принятых здесь во внимание компонентов того же комплекса; вопрос сводится к определению *адекватного* воздействия отдельных элементов данной причинной связи. В какой мере историк (в самом широком смысле слова) способен уверенно совершить это сведение с помощью своего основанного на личном жизненном опыте и методически дисциплинированного воображения и в какой мере он использует при этом выводы других специфических наук, решается в каждом

[377]

отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Однако повсюду, а следовательно, и в области сложных экономических процессов, *надежность* такого причинного сведения тем больше, чем полнее и глубже знание общих законов. То, что при этом всегда, в том числе и во всех без исключения так называемых «экономических законах», речь идет не о «закономерностях» в узком естественнонаучном смысле, но об «адекватных» причинных связях, выраженных в определенных правилах, о применении категории «объективной возможности» (которую мы здесь подробно не будем рассматривать), ни в какой мере не умаляет значения данного тезиса. Следует только всегда помнить, что установление закономерностей такого рода — не *цель*, а

средство познания; а есть ли смысл в том, чтобы выражать в формуле в виде «закона» хорошо известную нам из повседневного опыта закономерность причинной связи, является в каждом конкретном случае вопросом целесообразности.

Для естественных наук важность и ценность «законов» прямо пропорциональна степени их *общезначимости*-, для познания исторических явлений в их конкретных условиях *наиболее общие законы*, в наибольшей степени лишенные содержания, имеют, как правило, наименьшую ценность. Ведь чем больше значимость родового понятия — его *объем*, тем дальше оно уводит нас от полноты реальной действительности, так как для того, чтобы содержать общие признаки наибольшего числа явлений, оно должно быть абстрактным, то есть *бедным* по своему содержанию. В науках о культуре познание общего никогда не бывает ценным как таковое.

Из сказанного следует, что «объективное» исследование явлений культуры, идеальная цель которого состоит в сведении эмпирических связей к «законам», бессмысленно. И совсем *не* потому, что, как часто приходится слышать, культурные или духовные процессы «объективно» протекают в менее строгом соответствии законам, а по совершенно иным причинам. Во-первых, знание социальных законов не есть знание социальной действительности, оно является лишь одним из целого ряда вспомогательных средств, необходимых нашему мышлению для этой цели. Во-вторых, познание культурных процессов возможно только в том случае, если оно исходит из *значения*, которое для нас всегда имеет действительность жизни, индивидуально структурированная в

[378]

определенных *единичных* связях. В *каком* смысле и в *каких* связях обнаруживается такая значимость, нам не может открыть ни один закон, ибо это решается в зависимости от *ценностных идей*, под углом зрения которых мы в каждом отдельном случае рассматриваем «культуру». «Культура» — есть тот конечный фрагмент лишенной смысла мировой бесконечности, который, с точки зрения *человека*, обладает смыслом и значениям. Такое понимание культуры присуще человеку и в том случае, когда он выступает как злейший враг какой-либо *конкретной* культуры и требует «возврата к природе». Ведь и эту позицию он может занять, только *соотнося* данную конкретную культуру со своими ценностными идеями и определяя ее как «слишком поверхностную». Данное *чисто формально-логическое* положение имеется в виду, когда речь здесь идет о логически необходимой связи всех «исторических индивидуумов» с «ценностными идеями». Трансцендентальная предпосылка всех *наук о культуре* состоит *не* в том, что мы считаем определенную — или вообще какую бы то ни было — «культуру» *ценной*, а в том, что мы сами *являемся людьми* культуры, что мы обладаем способностью и волей, которые позволяют нам сознательно занять определенную *позицию* по отношению к миру и придать ему *смысл*. Каким бы этот смысл ни был, он станет основой наших *суждений* о различных явлениях совместного существования людей, заставит нас отнестись к ним (положительно или отрицательно) как к чему-то для нас значительному. Каким бы ни было содержание этого отношения, названные явления будут иметь для нас культурное *значение*, которое только и придает им научный интерес. Говоря в терминах современной логики об обусловленности познания культуры идеями *ценности*, мы уповаем на то, что это не породит столь глубокого заблуждения, будто, с нашей точки зрения, культурное значение присуще лишь *ценностным* явлениям. К явлениям *культуры* проституция относится не в меньшей степени, чем религия или деньги, и все они относятся потому, *только* потому, что их существование и форма, которую они обрели *исторически*, прямо или косвенно затрагивают наши культурные *интересы*-, и *только* в этой степени потому, что они возбуждают наше стремление к знанию с тех точек зрения, которые выведены из ценностных идей, придающих *значимость* отрезку действительности, мыслимому в этих понятиях.

[379]

Отсюда следует, что познание культурной действительности — всегда познание с совершенно специфических *особых точек зрения*. Когда мы требуем от историка или социолога в качестве элементарной предпосылки, чтобы он умел отличать важное от неважного и основывался бы,

совершая такое разделение, на определенной «точке зрения», то это означает только, что он должен уметь осознанно или неосознанно соотносить явления действительности с универсальными «ценностями культуры» и в зависимости от этого вычленять *те* связи, которые для нас значимы. Если часто приходится слышать, что подобные точки зрения «могут быть почерпнуты из материала», то это — лишь следствие наивного самообмана ученого, не замечающего, что он с самого начала в силу ценностных идей, которые он неосознанно прилагает к материалу исследования, вычленил из абсолютной бесконечности крошечный ее компонент в качестве *того*, что для него единственно *важно*. В этом всегда и повсеместно, сознательно или бессознательно производимом выборе *отдельных* особых «сторон» происходящих событий проявляется и тот элемент научной работы в области наук о культуре, на котором основано часто высказываемое утверждение, будто «личный» момент научного труда и есть собственно ценное в нем, что в каждом труде, достойном внимания, должна отражаться «личность» автора. Очевидно, что без ценностных идей исследователя не было бы ни принципа, необходимого для отбора материала, ни подлинного познания индивидуальной реальности; и если без веры исследователя в значение какого-либо содержания культуры любые его усилия, направленные на познание *индивидуальной* действительности, просто бессмысленны, то направленность его веры, преломление ценностей в зеркале его души придадут исследовательской деятельности известную направленность. Ценности же, с которыми научный гений соотносит объекты своего исследования, могут определить «восприятие» целой эпохи, то есть играть решающую роль в понимании не только того, что считается в явлениях «ценностным», но и того, что считается значимым или незначимым, «важным» или «неважным».

Следовательно, познание в науках о культуре так, как мы его понимаем, *связано с* «субъективными» предпосылками в той мере, в какой оно интересуется только теми компонентами действительности, которые каким-либо об-

[380]

разом — пусть даже самым косвенным — связаны с явлениями, имеющими в нашем представлении культурное *значение*. Тем не менее это, конечно, — чисто *каузальное* познание, совершенно в таком же смысле, как познание значимых индивидуальных явлений природы, которые носят качественный характер. К числу многих заблуждений, вызванных вторжением в науки о культуре формально-юридического мышления, присоединилась недавно остроумная попытка в принципе «опровергнуть» «материалистическое понимание истории» с помощью ряда следующих будто бы убедительных выводов* : поскольку хозяйственная жизнь проходит в юридически или конвенционально *урегулированных формах*, всякое экономическое «развитие» неизбежно принимает форму устремления к созданию новых *правовых форм*, следовательно, оно может быть понято только под углом зрения *нравственных* максим и потому по своей сущности резко отличается от любого развития «в области природы». В силу этого познание экономического развития всегда телеологично по своему характеру. Не останавливаясь на многозначном понятии «развития» в социальных науках и на логически не менее многозначном понятии «телеологического», мы считаем нужным указать здесь лишь на то, что такое развитие, во всяком случае, «телеологично» не в *том* смысле, какой в это слово вкладывается сторонниками данной точки зрения. При полной формальной идентичности значимых правовых норм культурное значение нормированных правовых *отношений*, а тем самым и самих норм может быть совершенно различным. Если решиться на фантастическое прогнозирование будущего, то можно, например, представить себе «обобществление средств производства» теоретически завершенным, без того, чтобы при этом возникли какие бы то ни были соз- нательные «устремления» к реализации указанной цели, и без того, чтобы наше законодательство уменьшилось на один параграф или пополнилось таковым. Правда, статистика отдельных нормированных правовых отношений изменилась бы коренным образом, число многих из них

* Имеется, по-видимому, в виду книга Р. Штаммлера: «Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung», критике которой посвящена статья М. Вебера: «R. Stammiers "Oberwindung der materialistischen Geschichtsauffassung"», помещенная в: Gesam-melte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen, 1951, S. 291—359.— *Прим. ред.*

упало бы до нуля, значительная часть правовых норм *практически* перестала бы играть какую-либо роль, и их культурное значение тоже изменилось бы до неузнаваемости. Поэтому «материалистическое» понимание истории могло бы с полным правом исключить соображения *de lege ferenda*^{*}, так как его основополагающим тезисом было именно неизбежное изменение значения правовых институтов. Тот, кому скромный труд каузального понимания исторической действительности представляется слишком элементарным, пусть лучше не занимается им, но заменять его какой-либо «телеологией» невозможно. В *нашем* понимании «цель» — это такое представление о *результате*,- которое становится *причиной* действия, и так же, как мы принимаем во внимание *любую* причину, способствующую *значимому* результату, мы принимаем во внимание и данную. Специфическое значение данной причины состоит лишь в том, что наша цель — не только *конституировать* поведение людей, но и *понять* его.

Нет никакого сомнения в том, что ценностные идеи «субъективны». Между «историческим» интересом к семейной хронике и интересом к развитию самых важных явлений культуры, в одинаковой степени общих для нации или всего человечества на протяжении целых эпох и вплоть до наших дней, проходит бесконечная градация «значений», последовательность степеней которых иная для каждого из нас. Такому же преобразованию они подвергаются в зависимости от характера культуры и господствующих в человеческом мышлении идей. Из этого, однако, отнюдь *не* следует, что *выводы исследования* в области наук о культуре могут быть только «субъективными» в том смысле, что они для одного человека значимы, а для другого нет. Меняется лишь степень *интереса*, который они представляют для того или другого человека. Иными словами: что становится предметом исследования и насколько глубоко это исследование проникает в бесконечное переплетение каузальных связей, определяют господствующие в данное время и в мышлении данного ученого ценностные идеи. Если обратиться к методу исследования, то ведущая «точка зрения», правда, является, как мы еще увидим, определяющей для образова-

ния вспомогательных понятийных средств, которыми пользуется ученый, однако характер этого использования здесь, как и всегда, связан, конечно, с нормами нашего мышления. Научная истина есть именно то, что *хочет* быть значимым для всех, кто стремится к истине.

Один вывод из сказанного здесь не вызывает сомнения это полная бессмысленность идеи, распространившейся даже в кругах историков, будто целью, пусть даже отдаленной, наук о культуре должно быть создание замкнутой системы понятий, в которой действительность можно будет представить в некоем *окончательном* членении и из которой она затем опять может быть дедуцирована. Бесконечный поток неизмеримых событий несетя в вечность. Во все новых образах и красках возникают проблемы культуры, волнующие людей; зыбкими остаются границы того, что в вечном и бесконечном потоке индивидуальных явлений обретает для нас смысл и значение, становится «историческим индивидуумом». Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни. Система в науках о культуре, даже просто в качестве окончательной и объективно значимой фиксированной систематизации проблем и областей знания, которыми должны заниматься эти науки, — бессмыслица. Результатом подобной попытки может быть лишь перечисление многих, специфически выделенных, гетерогенных и несовместимых друг с другом точек зрения, с которых действительность являлась или является для нас «культурой», то есть значимой в своем своеобразии.

После таких длительных пояснений можно наконец обратиться к тому вопросу, который в рамках рассмотрения «объективности» познания культуры представляет для нас

^{*} Связанные с изменениями закона (*лат.*).—Прим. перев.

методологический интерес. Каковы логическая функция и структура *понятий*, которыми пользуется наша, как и любая другая, наука? Или, если сформулировать вопрос точнее, обращаясь непосредственно к решающей для нас проблеме: каково значение *теории* и образования теоретических понятий для познания культурной действительности?

[383]

ником», то есть рассматривала явления действительности с однозначной (по видимости, во всяком случае), прочно установленной, практической ценностной точки зрения, с точки зрения роста «богатства» подданных государства. С другой стороны, она с самого начала была не *только* «техникой», так как вошла в могучее единство естествен-ноправового и рационалистического мировоззрения XVIII в. Своеобразие этого мировоззрения с его оптимистической верой в то, что действительность может быть теоретически и практически рационализирована, оказало существенное воздействие, *препятствуя* открытию того факта, что принятая как нечто само собой разумеющееся точка зрения носит *проблематичный характер*. Рациональное отношение к социальной действительности не только возникло в тесной связи с развитием естественных наук, но и осталось родственным ему по характеру своего научного метода. В естественных науках практическая ценностная точка зрения, которая сводилась к непосредственно технически полезному, была изначально тесно связана с унаследованной от античности, а затем все растущей надеждой на то, что на пути генерализирующей абстракции и эмпирического анализа, ориентированного на установленные законами связи, можно прийти к чисто «объективному» (то есть свободному от ценностей) и вместе с тем вполне рациональному (то есть свободному от индивидуальных «случайностей») монистическому познанию всей действительности в виде некоей системы *понятий*, метафизической по своей *значимости* и математической по *форме*. Неотделимые от ценностных точек зрения естественные науки, такие, как клиническая медицина и еще в большей степени наука, именуемая обычно «технологией», превратились в чисто практическое «обучение ремеслу». Ценности, которыми они должны были руководствоваться, — здоровье пациента, технологическое усовершенствование конкретного производственного процесса и т.д. — были для них незыблемы. Средства, применяемые ими, были (и только и могли быть) использованием закономерностей и понятий, открытых теоретическими науками. Каждый принципиальный прогресс в образовании теоретических понятий был (или мог быть) также прогрессом практической науки. При твердо установленной цели прогрессирующее подведение отдельных

[384]

практических вопросов (данного медицинского случая, данной технической проблемы) в качестве частных случаев под общезначимые законы, следовательно, углубление теоретического знания, было непосредственно связано с расширением технических, практических возможностей и тождественно им. Когда же современная биология подвела под понятие общезначимого принципа развития и те компоненты действительности, которые интересуют нас *исторически*, то есть в их именно данном, а не в каком-либо ином становлении, и этот принцип, как казалось (хотя последнее и не соответствовало истине), позволил включить все существенные свойства объекта в схему общезначимых законов, тогда как будто действительно наступили «сумерки богов» для всех ценностных точек зрения в области всех наук. Ведь поскольку и так называемые «исторические события» — часть действительности, а принцип каузальности, являющийся предпосылкой всей научной работы, как будто требовал растворения всего происходящего в общезначимых «законах», поскольку, наконец, громадные успехи естественных наук, которые отнеслись к данному принципу со всей серьезностью, были очевидны, стало казаться, что иного смысла научной работы, кроме открытия *законов* происходящего, вообще нельзя себе представить. Только «закономерное» может быть существенным в явлениях, «индивидуальное» же может быть принято во внимание только в качестве «типа», то есть в качестве иллюстрации к закону. Интерес к индивидуальному явлению как таковому «научным» интересом не считался.

Здесь невозможно показать, какое сильное обратное влияние на экономические науки оказала эта оптимистическая уверенность, присущая натуралистическому монизму. Когда же

социалистическая критика и работа историков стали превращать исконные ценностные представления в проблемы, требующие дальнейшего изучения, то громадные успехи биологии, с одной стороны, влияние гегелевского панлогизма — с другой, воспрепятствовали тому, чтобы в политической экономии было отчетливо понято отношение между понятием и действительностью во всем его значении. Результат (в том аспекте, в котором нас это интересует) свелся к тому, что, несмотря на мощную преграду, созданную немецкой идеалистической философией со времен Фихта, трудами немецкой исторической школы права и исторической шко-

[385]

лы политической экономии, назначением которой было противостоять натиску натуралистических догм, натурализм тем не менее, а отчасти и *вследствие* этого в своих решающих моментах еще не преодолен. Сюда относится прежде всего оставшаяся до сих пор нерешенной проблема соотношения «теоретического» и «исторического» исследования в нашей сфере деятельности.

«Абстрактный» теоретический метод еще и теперь резко и непримиримо противостоит эмпирическому историческому исследованию. Сторонники абстрактно-теоретического метода совершенно правы, когда они утверждают, что заменить историческое познание действительности формулированием законов или, наоборот, вывести законы в строгом смысле слова из простого рядоположения исторических наблюдений методически невозможно. Для выведения законов — а что это должно быть главной целью науки, им представляется несомненным — сторонники абстрактно-теоретического метода исходят из того, что мы постоянно переживаем связи человеческих действий в их непосредственной реальности и поэтому можем, как они полагают, пояснить их с аксиоматической очевидностью и открыть таким образом лежащие в их основе «законы». Единственно точная форма познания, формулирование непосредственно *очевидных* законов, есть также, по их мнению, и единственная форма познания, которая позволяет делать выводы из непосредственно не наблюдаемых явлений. Поэтому построение системы абстрактных, а потому чисто формальных положений, аналогичных тем, которые существуют в естественных науках, — единственное средство духовного господства над многообразием общественной жизни, в первую очередь если речь идет об основных феноменах хозяйственной жизни. Невзирая на принципиальное методическое разделение между номологическим и историческим знанием, которое в качестве *первого* и *единственного* некогда создал творец этой теории^{*}, теперь он сам исходит из того, что положения абстрактной теории обладают эмпирической значимостью, поскольку они допускают *выведение* действительности из законов. Правда, речь идет не об эмпирической значимости абстрактных экономических положений самих по себе; его точка зрения сводится к следующему: если разработать соответствующую-

[386]

щие «точные» теории из всех принятых во внимание факторов, то во всех этих абстрактных теориях в их совокупности будет содержаться подлинная реальность вещей, то есть те стороны действительности, которые достойны познания. Точная экономическая теория устанавливает якобы действие *одного*, психического, мотива, задача других теорий — разработать подобным образом все остальные мотивы в виде научных положений гипотетической значимости. Поэтому в ряде случаев делался совершенно фантастический вывод, будто результат теоретической работы в виде абстрактных теорий в области ценообразования, налогового обложения, ренты по мнимой аналогии с теоретическими положениями физики может быть использован для *выведения* из данных реальных предпосылок *определенных количественных* результатов, то есть строгих законов, значимых для реальной действительности, так как хозяйство человека при заданной цели по своим средствам «детерминировано» однозначно. При этом упускалось из виду, что для получения такого результата в каком бы то ни было, пусть самом простом, случае должна быть положена «данной» и постулирована известной вся историческая действительность

* Г. Риккерт. — *Прим. перев.*

в целом, со всеми ее каузальными связями и что если бы конечному духу стало доступно *такое* знание, то трудно себе представить, в чем же тогда состояла бы познавательная ценность абстрактной теории. Натуралистический предрассудок, будто в таких понятиях может быть создано нечто, подобное точным выводам естественных наук, привел к тому, что самый смысл этих теоретических образований был неверно понят. Предполагалось, что речь идет о психологической изоляции некоего специфического «стремления», стремления человека к наживе, или об изолированном рассмотрении специфической максимы человеческого поведения, так называемого «хозяйственного принципа». Сторонники абстрактной теории считали возможным опираться на психологические *аксиомы*, а следствием этого было то, что историки стали взывать к *эмпирической* психологии, стремясь таким образом доказать неприемлемость подобных аксиом и выявить эволюцию экономических процессов с помощью психологических данных. Мы не будем здесь подвергать критике веру в значение такой систематической науки, как «социальная психология» (ее, правда, еще надо создать), в качестве будущей основы наук

[387]

о культуре, в частности политической экономии. Существующие в настоящий момент, подчас блестящие, попытки психологической интерпретации экономических явлений отчетливо свидетельствуют о том, что к пониманию общественных институтов следует идти не от анализа психологических свойств человека, что, наоборот, выявление психологических предпосылок и воздействия институтов *предполагает* хорошее знание структуры этих институтов и научный анализ их взаимосвязей. Только тогда психологический анализ может в определенном конкретном случае оказаться очень ценным, углубляя наше знание исторической культурной *обусловленности* и культурного значения общественных институтов. То, что нас интересует в психическом поведении человека в рамках его социальных связей, всегда специфическим образом изолировано в зависимости от специфического культурного значения связи, о которой идет речь. Все эти психические мотивы и влияния весьма разнородны и очень конкретны по своей структуре. Исследование в области социальной психологии означает тщательное изучение *единичных*, во многом несовместимых по своему типу элементов культуры в свете возможного их истолкования для нашего понимания посредством сопереживания. Таким образом, мы, отправляясь от знания отдельных институтов, придем благодаря этому к более глубокому духовному *пониманию* их культурной обусловленности и культурного значения, вместо того чтобы выводить институты из законов психологии или стремиться *объяснить* их с помощью элементарных психологических явлений.

Длительная полемика по вопросам о психологической оправданности абстрактных теоретических конструкций, о значении «стремления к наживе», «хозяйственного принципа» и т. п. оказалась малопродуктивной.

В построениях абстрактной теории создается лишь видимость того, что речь идет о «дедукции» из основных психологических мотивов, в действительности же мы обычно имеем дело просто с особым случаем формообразования понятий, которое свойственно наукам о культуре и в известном смысле им необходимо. Нам представляется полезным характеризовать такое образование понятий несколько подробнее, так как тем самым мы подойдем к принципиальному вопросу о значении теории в области социальных наук. При этом мы раз и навсегда

[388]

отказываемся от суждения о том, соответствуют ли сами по себе *те* теоретические образования, которые мы приводим (или имеем в виду) в качестве примеров, поставленной цели, обладает ли объективно их построение целесообразностью. Вопрос о том, например, до каких пределов следует разрабатывать современную «абстрактную теорию», является по существу вопросом экономии в научной работе, направленной также на решение и других проблем. Ведь и «теория предельной полезности» подвластна «закону предельной полезности».

В абстрактной экономической теории мы находим пример тех синтезов, которые обычно именуют *«идеями»* исторических явлений. Названная теория дает нам идеальную картину

процессов, происходящих на рынке в товарно-денежном хозяйстве при свободной конкуренции и строго рациональном поведении. Этот мысленный образ сочетает определенные связи и процессы исторической жизни в некий лишенный внутренних противоречий космос *мысленных* связей. По своему содержанию данная конструкция носит характер *утопии*, полученной посредством *мысленного* усиления определенных элементов действительности. Ее отношение к эмпирически данным фактам действительной жизни состоит в следующем: в тех случаях, когда абстрактно представленные в названной конструкции связи, то есть процессы, связанные с «рынком», в какой-то степени выявляются или предполагаются в действительности как значимые, мы можем, сопоставляя их с *идеальным типом*, показать и пояснить с прагматической целью своеобразие *этих* связей. Такой метод может быть эвристическим, а для определения ценности явления даже необходимым. В *исследовании* идеально-типическое понятие — средство для вынесения правильного суждения о каузальном сведении элементов действительности. Идеальный тип — не «гипотеза», он лишь указывает, в каком направлении должно идти образование гипотез. Не дает он и *изображения* действительности, но представляет для этого однозначные средства выражения. Таким образом, перед нами «идея» исторически данной хозяйственной организации современного общества, образованная по совершенно таким же логическим принципам, с помощью которых была сконструирована в качестве «генетического» принципа, например, идея «городского хозяйства» в средние века. В такой конструкции понятие «городское хозяйство»

[389]

строится не как среднее выражение совокупности всех действительных хозяйственных принципов, обнаруженных во всех изученных городах, но также в виде *идеального* типа. Оно создается посредством одностороннего *усиления одной* или *нескольких* точек зрения и соединения множества диффузно и дискретно существующих *единичных* явлений (в одном случае их может быть больше, в другом — меньше, а кое-где они вообще отсутствуют), которые соответствуют тем односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый *мысленный* образ. В реальной действительности такой мысленный образ в его понятийной чистоте нигде эмпирически не обнаруживается; это—*утопия*. Задача исторического исследования состоит в том, чтобы в каждом отдельном случае установить, насколько действительность близка такому мысленному образу или далека от него, в какой мере можно, следовательно, считать, что характер экономических отношений определенного города соответствует понятию «городского хозяйства». При осторожном применении этого понятия оно специфическим образом способствует достижению цели и наглядности исследования. С помощью совершенно такого же метода можно (приведем еще один пример) создать в виде утопии «идею ремесла», соединив определенные черты, диффузно встречающиеся у ремесленников самых различных эпох и народов и доведенные до их полного логического предела, в едином, свободном от противоречий идеальном образе и соотнеся их с выраженным в них *мысленным* образованием. Можно, далее, попытаться нарисовать общество, где все отрасли хозяйственной, даже всей духовной деятельности подчинены максимумам, являющимся результатом применения того же принципа, который был положен в основу доведенного до идеального типа «ремесла». Далее, идеальному типу «ремесла» можно, абстрагируя определенные черты современной крупной промышленности, противопоставить в качестве антитезиса идеальный тип капиталистического хозяйства и вслед за тем попытаться нарисовать утопию «капиталистической» культуры, то есть культуры, где господствуют только интересы реализации частных капиталов. В ней должны быть объединены отдельные, диффузно наличные черты материальной и духовной жизни в рамках современной культуры, доведенные в своем своеобразии до лишенного для нашего рассмотрения противоре-

[390]

чий идеального образа. Это и было бы попыткой создать «идею» *капиталистической культуры*; мы оставляем здесь в стороне вопрос, может ли подобная попытка увенчаться успехом и каким образом. Вполне вероятно, более того, нет сомнения в том, что можно создать целый ряд, даже

большое количество утопий такого рода, причем *ни одна* из них не будет повторять другую и, уж конечно, *ни одна* из них не обнаружится в эмпирической действительности в качестве реального общественного устройства: однако *каждая* из них претендует на то, что в ней выражена «идея» капиталистической культуры, и *вправе* на это претендовать, поскольку в *каждой* такой утопии действительно отражены известные, *значимые в своем своеобразии* черты нашей культуры, взятые из действительности и объединенные в идеальном образе. Ведь наш интерес к тем феноменам, которые выступают перед нами в качестве явлений культуры, всегда связан с их «культурным значением», возникающим вследствие отнесения их к самым различным ценностным идеям. Поэтому так же, как существуют различные «точки зрения», с которых мы можем рассматривать явления культуры в качестве значимых для нас, можно руководствоваться и самыми различными принципами отбора связей, которые надлежит использовать для создания идеального типа определенной культуры.

В чем же состоит значение подобных идеально-типических понятий для эмпирической науки в нашем понимании? Прежде всего следует подчеркнуть, что надо полностью отказаться от мысли, будто эти «идеальные» в чисто *логическом* смысле мысленные образования, которыми мы здесь занимаемся, в какой бы то ни было мере носят характер *долженствования*, «образца». Речь идет о конструировании связей, которые представляются нашей *фантазии* достаточно мотивированными, следовательно, «объективно возможными», а нашему номологическому знанию — *адекватными*.

Тот, кто придерживается мнения, что знание исторической действительности должно или может быть «непредвзятым» отражением «объективных» фактов, не увидит в идеальных типах никакого смысла. Даже тот, кто понял, что в реальной действительности нет «непредвзятости» в логическом смысле и что даже самые простые данные актов и грамот могут иметь какое бы то ни было научное значение лишь в соотнесении со «значимостью»,

[391]

а тем самым с ценностными идеями в качестве последней инстанции, все-таки сочтет, что смысл таких сконструированных исторических «утопий» состоит только в их наглядности, которая может представлять опасность для объективной исторической работы, а чаще увидит в них просто забаву. В самом деле, априорно вообще никогда нельзя установить, идет *ли* речь о чистой игре мыслей или о научно плодотворном образовании понятий; здесь также существует лишь один критерий: в какой мере это будет способствовать познанию конкретных явлений культуры в их взаимосвязи, в их причинной обусловленности и *значении*. Тем самым в образовании абстрактных идеальных типов следует видеть не цель, а *средство*. При внимательном рассмотрении понятийных элементов в историческом изображении действительности сразу же обнаруживается следующее: как только историк делает попытку выйти за рамки простой констатации конкретных связей и установить *культурное значение* даже самого элементарного индивидуального события, «охарактеризовать» его, он оперирует (и *должен* оперировать) понятиями, которые могут быть точно и однозначно определены только в идеальных типах. Разве могут быть такие понятия, как «индивидуализм», «империализм», «феодализм», «меркантилизм», «конвенционально» и множество других понятийных образований подобного рода, с помощью которых мы, мысля и постигая действительность, пытаемся подчинить ее себе, разве могут быть они определены по своему содержанию посредством «беспристрастного» *описания* какого-либо конкретного явления или посредством абстрагированного сочетания черт, общих *многим* конкретным явлениям? Сотни слов в языке историка содержат такие неопределенные мысленные образы, идущие от безотчетной потребности выражения, значение которых лишь зримо ощущается, а не отчетливо мыслится. В бесконечном множестве случаев, особенно в области политической истории, стремящейся к изображению событий, неопределенность их содержания, безусловно, не наносит ущерба ясности картины. Здесь достаточно того, что в каждом отдельном случае *ощущается* то, что представлялось историку. Можно также удовлетвориться тем, что *частичная* определенность понятийного содержания

мысленно представляется в его *относительной* значимости для данного случая. Однако чем отчетливее должна быть осознана значимость явления куль-

[392]

туры, тем настоятельнее становится потребность пользоваться ясными понятиями, которые определены не только частично, но и всесторонне. «Дефиниция» такого синтеза в историческом мышлении по схеме *genus proximi, differentia specifica*^{*}, конечно, просто бессмыслица; чтобы удостовериться в этом, достаточно произвести проверку. Такого рода установление значения слова применяется лишь в догматических науках, оперирующих силлогизмами. Простого «описательного разъединения» упомянутых понятий на их составные части также не существует; существовать может лишь видимость этого, так как все дело заключается в том, *какую* из составных частей следует считать существенной. Попытка дать генетическую дефиницию понятийного содержания приводит к тому, что сохраняется только форма идеального типа в указанном выше смысле. Это — мысленный образ, не *являющийся* ни исторической, ни тем более «подлинной» реальностью. Еще менее он пригоден для того, чтобы служить схемой, в которую явление действительности может быть введено в качестве частного *случая*. По своему значению это чисто идеальное *пограничное* понятие, с которым действительность *сопоставляется, сравнивается*, для того чтобы сделать отчетливыми определенные значимые компоненты ее эмпирического содержания. Подобные понятия являют собой конструкции; в них мы строим, используя категорию объективной возможности, связи, которые наша ориентированная на действительность, научно дисциплинированная *фантазия* рассматривает в своем *суждении* как адекватные.

Идеальный тип в данной его функции — прежде всего попытка охватить «исторические индивидуумы» или их отдельные компоненты *генетическими* понятиями. Возьмем, например, понятия «церковь» и «секта». Их можно, классифицируя, разъединить на комплексы признаков; тогда не только граница между ними, но и содержание обоих понятий окажутся размытыми. Если же мы хотим постигнуть понятие «секта» генетически, например в его соотношении с известными важными культурными значениями, которые «сектантский дух» имел для современной культуры, то *существенными* станут определенные признаки обоих понятий, так как они находятся в адекватной причинной связи с тем воздействием, о котором

[393]

шла речь. Тогда понятия станут *идеально-типическими*, поскольку в полной понятийной *чистоте* данные явления либо вообще не встречаются, либо встречаются очень редко; здесь, как и повсюду, каждое не *чисто* классификационное понятие уводит нас от действительности. Однако дискурсивная природа нашего познания, то обстоятельство, что мы постигаем действительность только в сцеплении измененных представлений, постулирует подобное стенографирование понятий. Наша фантазия, безусловно, может часто обходиться без такого точного понятийного формулирования в качестве средства *исследования*, однако для изображения, которое стремится быть однозначным, применение его в области анализа культуры в ряде случаев совершенно необходимо. Тот, кто это полностью отвергает, должен ограничиться формальным, например историко-правовым, аспектом культурных явлений. Космос *правовых* норм может быть, конечно, отчетливо определен в понятиях и одновременно (в *правовом* смысле!) сохранять *значимость* для исторической действительности. Однако социальная наука в нашем понимании занимается их практическим *значением*. Очень часто это значение может быть ясно осознано только посредством соотнесения эмпирической данности с ее идеальным пограничным случаем. Если историк (в самом широком значении данного слова) отказывается от попытки формулировать такой идеальный тип, считая его «теоретической конструкцией», то есть полагая, что для его конкретной познавательной цели он неприемлем или не нужен, то в результате, как правило, оказывается, что этот историк, осознанно или неосознанно, пользуется

* Общий род, видовые отличия {лат.}.—Прим. перев.

другими подобными конструкциями, *не* формулируя их в определенных терминах и *не* разрабатывая их логически, или что он остается в сфере неопределенных «ощущений».

Однако ничто не может быть опаснее, чем коренящееся в натуралистических предубеждениях *смешение* теории и истории, в форме ли веры в то, что в теоретических построениях фиксировано «подлинное» содержание, «сущность» исторической реальности, или в использовании этих понятий в качестве прокрустова ложа, в которое втискивают историю, или, наконец, в гипо-стазировании «идей» в качестве стоящей за преходящими явлениями «подлинной» действительности, в качестве реальных «сил», действующих в истории.

[394]

Последнее представляет собой тем более реальную опасность, что под «идеями» эпохи мы привыкли понимать—и понимать в первую очередь—мысли и идеалы, которые *господствовали* над массами или над имевшими наибольшее историческое значение людьми рассматриваемой эпохи и тем самым были значимы в качестве компонентов ее культурного своеобразия. К этому присоединяется еще следующее: прежде всего то, что между «идеями» в смысле практической или теоретической направленности и «идеями» в смысле конструированного нами в качестве понятийного вспомогательного средства идеального *типа* эпохи существует определенная связь. Идеальный тип определенного общественного состояния, сконструированный посредством абстрагирования ряда характерных социальных явлений эпохи, может — и это действительно часто случается — представляться современникам практическим идеалом, к которому надлежит стремиться, или, во всяком случае, максимой, регулирующей определенные социальные связи. Так обстоит дело с «идеями» «обеспечения продовольствием» и с рядом канонических теорий, в частности с теорией Фомы Аквинского, в их отношении к используемому теперь идеально-типическому понятию «городское хозяйство» средних веков, о котором шла речь выше. И прежде всего это относится к пресловутому «основному понятию» политической экономии, к понятию хозяйственной «ценности». От схоластики вплоть до Марксовой теории представление о чем-то «объективно» значимом, то есть долженствующим быть, сливается с абстракцией, в основу которой положены элементы эмпирического процесса ценообразования. Эта идея, согласно которой «ценность» материальных благ должна регулироваться принципами «естественного права», сыграла огромную роль в развитии культуры, отнюдь не только в средние века, и сохраняет свое значение и поныне. Она интенсивно влияла и на эмпирическое ценообразование. Однако *что* понимают под таким *теоретическим* понятием и что может быть таким образом действительно понято, доступно ясному, однозначному постижению *только* с помощью строгих, что означает идеально-типических, понятий; об этом следовало бы задуматься тем, кто иронизирует над «робинзонадами» абстрактной теории, и воздержаться от насмешек, хотя бы до той поры, когда они смогут предложить нечто лучшее, то есть *более очевидное*.

[395]

Каузальное отношение между исторически констатируемой, господствующей над умами *идеями* и теми компонентами исторической реальности, из которых может быть абстрагирован соответствующий данной идее идеальный *тип*, может, конечно, принимать самые различные формы. Важно только в принципе помнить, что они совершенно различны по своей природе. Однако к этому присоединяется следующее: *сами* подобные «идеи», господствующие над людьми определенной эпохи, то есть диффузно в них действующие, можно, если речь идет о каких-либо сложных мысленных образованиях, постигнуть со всей понятийной строгостью только в *виде идеального типа*, так как эмпирически они живут в умах неопределенного и все время меняющегося количества индивидов и обретают в них разнообразнейшие оттенки по форме и содержанию, ясности и смыслу. Так, компоненты духовной жизни отдельных индивидов, например в определенную эпоху средневековья, которые можно рассматривать как «христианскую веру» этих индивидов, составили бы, конечно, *если бы* мы могли их полностью воспроизвести, хаос бесконечно дифференцированных и весьма противоречивых связей мыслей и чувств, несмотря на то что средневековая церковь сумела достичь высокой степени единства веры и нравов. Однако когда встает вопрос, что же в этом хаосе было *подлинным* «христи-

анством» средних веков, которым мы вынуждены постоянно оперировать как неким твердо установленным понятием, в чем же состоит то подлинно «христианское», которое мы обнаруживаем в средневековых институтах, то оказывается, что и здесь мы в каждом отдельном случае пользуемся созданным нами чисто мысленным образованием. Оно являет собой сочетание догматов веры, норм церковного права и нравственности, правил образа жизни и бесчисленных отдельных связей, объединенных *нами* в «идею»-синтез, достичь которой без применения идеально-типических понятий мы вообще бы не могли.

Логическая структура систем понятий, в которых мы выражаем подобные «идеи», и их отношение к тому, что нам непосредственно дано в эмпирической реальности, конечно, очень отличаются друг от друга. Сравнительно просто обстоит дело, если речь идет о тех случаях, когда над людьми властвуют и оказывают историческое воздействие какие-либо теоретические положения (или

[396]

одно из них), которые легко могут быть выражены в формулах, как, например, учение Кальвина о предопределении или отчетливо формулируемые нравственные постулаты; такую «идею» можно расчленивать на иерархическую последовательность мыслей, которые логически выводятся из таких теоретических положений. Однако и здесь часто игнорируется тот факт, что каким бы огромным по своему значению ни было чисто *логическое* воздействие мысли в истории — ярчайшим примером этого может служить марксизм, — эмпирически и исторически человеческое мышление следует толковать как *психологически*, а не как логически обусловленный процесс. Идеально-типический характер такого синтеза исторически действенных идей проявляется отчетливее, если упомянутые основные положения и постулаты вообще не живут — или уже не живут — в умах индивидов, которые руководствуются мыслями, логически выведенными из этих постулатов или ассоциативно вызванными ими, поскольку некогда лежавшая в их основе «идея» либо отмерла, либо с самого начала воспринималась только в своих выводах. Еще отчетливее проявляется характер данного синтеза в качестве созданной *нами* «идеи» в тех случаях, когда упомянутые фундаментальные положения изначально либо неполно осознавались (или вообще не осознавались), либо не нашли своего выражения в виде отчетливых мысленных связей. Если же мы этот синтез осуществим, что очень часто происходит и должно происходить, то такая «идея» — например, «либерализма» определенного периода, «методизма» или какой-либо недостаточно продуманной разновидности «социализма» — окажется *чистым* идеальным типом, совершенно таким же, как синтез «принципов» какой-либо хозяйственной эпохи, от которого мы отпавлялись. Чем шире связи, о выявлении которых идет речь, чем многограннее было их культурное значение, тем *больше* их сводное систематическое изображение в системе понятий и мыслей приближается по своему характеру к идеальному типу, тем в *меньшей* степени можно обходиться *одним* понятием такого рода, тем естественнее и неизбежнее все повторяющиеся попытки осознавать *новые* стороны значимости посредством конструирования новых идеально-типических понятий. Все изображения «*сущности*» христианства, например, являют собой идеальные типы, всегда и неизбежно весьма относительной и проблематичес-

[397]

кой значимости, если рассматривать их как историческое воспроизведение эмпирической реальности; напротив, они обладают большой эвристической ценностью для исследования и большой систематической ценностью для изображения, если пользоваться ими как понятийными средствами для *сравнения* и сопоставления с ними действительности. В этой их функции они совершенно необходимы. Подобным идеально-типическим изображениям обычно присущ еще более усложняющий их значение момент. Они хотят быть или неосознанно являются идеальными типами не только в *логическом*, но и в *практическом* смысле, а именно стремятся быть «образцами», которые, если вернуться к нашему примеру, указывают на то, каким христианство, по мнению исследователя, *должно* быть, что исследователь считает в нем «*существенным*», *сохраняющим постоянную ценность*. Если это происходит осознанно или, что

случается чаще, неосознанно, то в идеальные типы вводятся идеалы, с которыми исследователь соотносит христианство как с *ценностью*. Задачи и цели, на которые данный исследователь ориентирует свою «идею» христианства, могут — и всегда будут — очень отличаться от тех ценностей, с которыми соотносили христианство ранние христиане, люди того времени, когда данное учение возникло. В этом своем значении «идеи», конечно, — уже не чисто *логические* вспомогательные средства, не понятия, в сравнении с которыми сопоставляется и *измеряется* действительность, а идеалы, с высоты которых о ней выносятся оценочное *суждение*. Речь идет уже *не* о чисто теоретической операции *отнесения* эмпирических явлений к ценностям, а об оценочных *суждениях*, введенных в «понятие» христианства. Именно *потому*, что идеальный тип претендует здесь на эмпирическую *значимость*, он вторгается в область оценочного *толкования* христианства — это уже не эмпирическая наука; перед нами личное признание человека, а *не* образование идеально-типического понятия. Несмотря на такое принципиальное различие, *смешение* двух в корне различных значений «идеи» очень часто встречается в историческом исследовании. Такое смешение уже вполне близко, как только историк начинает развивать свои «взгляды» на какое-либо историческое лицо или какую-либо эпоху. Если Шлоссер, следуя принципам рационализма, применял не знающие изменения этические масштабы, то современный, воспитанный в духе

[398]

релятивизма историк, стремясь, с одной стороны, понять изучаемую им эпоху «изнутри», с другой — вынести свое «суждение» о ней, испытывает потребность в том, чтобы вывести масштабы своего суждения из «материала», то есть в том, чтобы «идея» в значении *идеала* выросла из «идеи» в значении «идеального типа». Эстетическая притягательность подобного способа приводит к тому, что граница между этими двумя сферами постоянно стирается, в результате чего возникает половинчатое решение, при котором историк не может отказаться от оценочного суждения и одновременно пытается уклониться от ответственности за него. В такой ситуации *элементарным долгом самоконтроля* ученого и единственным средством предотвратить подобные недоразумения является резкое разделение между *сопоставительным* соотношением действительности с идеальными *типами* в логическом смысле слова и оценочным *суждением* о действительности, которое отправляется от *идеалов*. «Идеальный тип» в нашем понимании (мы вынуждены повторить это) есть нечто, в отличие от *оценивающего* суждения, совершенно индифферентное и не имеет ничего общего с каким-либо иным, не чисто *логическим* «совершенством». Есть идеальные типы борделей и идеальные типы религий, а что касается первых, то могут быть идеальные типы таких, которые с точки зрения современной полицейской этики технически «целесообразны», и таких, которые прямо противоположны этому.

Мы вынуждены отказаться здесь от подробного рассмотрения самого сложного и интересного феномена — вопроса о логической структуре *понятия государства*. Заметим лишь следующее: если мы зададим вопрос, что в эмпирической действительности соответствует идее «государства», то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий и пассивных реакций, фактически и юридически упорядоченных связей, либо единичных по своему характеру, либо регулярно повторяющихся; связей, объединенных идеей, которая является верой в действительно значимые нормы или долженствующие быть таковыми и в отношении господства-подчинения между людьми. Эта вера отчасти являет собой мысленно развитое духовное достояние; отчасти же, смутно ощущаемая или пассивно воспринятая в самой разнообразной окраске, она существует в умах людей, которые, если бы они действительно ясно *мыслили*

[399]

«идею» как таковую, не нуждались бы в «общем учении о государстве», которое должно быть из нее выведено. Научное понятие государства, как бы оно ни было сформулировано, всегда является синтезом, который *мы* создаем для определенных целей познания. Однако вместе с тем этот синтез в какой-то мере абстрагирован из мало отчетливых синтезов, обнаруживаемых в мышлении исторических людей. Впрочем, конкретное содержание, в котором находит свое

выражение в этих синтезах современников историческое «государство», также может быть сделано зримым только посредством их ориентации на идеально-типические понятия. Не вызывает также ни малейшего сомнения, что первостепенное практическое значение имеет характер того, как всегда несовершенные по своей логической форме синтезы создаются современниками, каковы *их* идеи о государстве (так, например, немецкая метафизическая идея «органического» государства в ее отличии от «делового» американского представления). Другими словами, и здесь долженствующая быть значимой или *мыслимая* значимой *практическая* идея и конструированный с познавательной целью теоретический идеальный *тип* движутся параллельно, постоянно проявляя склонность переходить друг в друга.

Выше мы намеренно рассматривали «идеальный тип» преимущественно (хотя и не исключительно) как мысленную конструкцию для измерения и систематической характеристики *индивидуальных*, то есть значимых в своей единичности связей, таких, как христианство, капитализм и пр. Это было сделано для того, чтобы устранить распространенное представление, будто в области явлений культуры абстрактно *типическое* идентично абстрактно *родовому*, что не соответствует истине. Не имея возможности дать здесь анализ многократно обсуждаемого и в значительной степени дискредитированного неправильным применением понятия «типическое», мы полагаем — все наше предшествующее изложение свидетельствует об этом, — что образование типических понятий *в смысле* исключения «случайного» также происходит именно в сфере «исторических *индивидуумов*». Конечно, и те *родовые* понятия, которые мы постоянно обнаруживаем в качестве компонентов исторического изложения и конкретных исторических понятий, можно посредством абстракции и усиления определенных существен-

[400]

ных для них понятийных элементов превратить в идеальные типы. Именно это чаще всего происходит на практике и являет собой наиболее важное применение идеально-типических понятий; каждый *индивидуальный* идеальный тип составляется из понятийных *элементов*, родовых по своей природе и превращенных в идеальные типы. И в этом случае обнаруживается специфически логическая функция идеально-типических понятий. Простым родовым понятием в смысле комплекса признаков, общих для ряда явлений, выступает, например, понятие «обмен», если отвлечься от *значения* понятийных компонентов, то есть просто анализировать повседневное словоупотребление. Если же соотнести данное понятие с «законом предельной полезности» и образовать понятие «экономический обмен» в качестве экономического *рационального* процесса, то последнее, как вообще любое полностью развитое понятие, будет содержать суждение о «типических» *условиях* обмена. Оно примет *генетический* характер и тем самым станет в логическом смысле идеально-типическим, то есть отойдет от эмпирической действительности, которую можно только сравнивать, соотносить с ним. То же самое относится ко всем так называемым «основным понятиям» политической экономии: в *генетической* форме они могут быть развиты только в качестве идеальных типов. Противоположность между простыми родовыми понятиями, которые просто объединяют общие свойства *эмпирических* явлений, и родовыми *идеальными* типами, такими, например, как идеально-типическое понятие «сущности» ремесла, в каждом отдельном случае, конечно, стерта. Однако ни одно родовое понятие как таковое не носит характер «типического», а чисто родового «среднего» *типа* вообще не существует. Во всех тех случаях, когда мы, например, при статистическом обследовании говорим о «типичных» величинах, речь идет о чем-то большем, чем средний тип. Чем в большей степени речь идет о простой классификации процессов, которые встречаются в действительности как массовые явления, тем в большей степени речь идет о родовых понятиях; напротив, чем в большей степени создаются понятия сложных исторических связей, исходя из тех их компонентов, которые лежат в основе их специфического *культурного значения*, тем в большей степени понятие — или система понятий — будет приближаться по своему характеру к *идеальному* типу. Ведь цель образования

[401]

идеально-типических понятий всегда состоит в том, чтобы полностью довести до сознания *не* родовые признаки, а *своеобразие* явлений культуры.

Тот факт, что идеальные типы, в том числе и родовые, могут быть использованы и используются, представляет особый *методический* интерес в связи с еще одним обстоятельством.

До сих пор мы, по существу, рассматривали идеальные типы только как абстрактные понятия тех связей, которые, пребывая в потоке событий, представляются нам «историческими индивидуумами» в их развитии. Теперь же здесь возникает осложнение, так как понятие «типического» сразу же вводит ложную натуралистическую идею, согласно которой цель социальных наук есть сведение элементов действительности к «законам». Дело в том, что идеальный тип *развития* также может быть сконструирован, и конструкции такого рода обладают в ряде случаев большим эвристическим значением. Но при этом возникает серьезная опасность того, что грань между идеальным типом и действительностью будет стираться. Можно, например, прийти к такому теоретическому выводу, что при *строго* «ремесленной» организации общества единственным источником накопления капитала является земельная рента. На этой основе можно, вероятно, конструировать (мы не будем здесь проверять правильность подобной конструкции) обусловленный совершенно определенными простыми факторами (такими, как ограниченная земельная территория, рост народонаселения, приток благородных металлов, рационализация образа жизни) идеальный тип преобразования ремесленного хозяйства в капиталистическое. Являлся ли исторический процесс развития эмпирически действительно таким, как он выражен в данной конструкции, можно установить с ее помощью в качестве эвристического средства — сравнивая идеальный тип с «фактами». Если идеальный тип сконструирован «правильно», но действительный процесс развития *не* соответствует идеально-типическому, мы тем самым обрели бы доказательство того, что средневековое общество в ряде определенных моментов *не* было строго «ремесленным» по своему характеру. Если же идеальный тип был сконструирован в эвристически «идеальной» манере (имело ли это место в нашем примере и каким образом, мы совершенно оставляем в стороне), *то* он приведет

[402]

исследователя к более отчетливому постижению этих не связанных с ремеслом компонентов средневекового общества в их своеобразии и историческом значении. *Если* идеальный тип приводит к такому выводу, можно считать, что он выполнил свою логическую цель именно *потому*, что обнаружил свое несоответствие действительности. В этом случае он был проверкой гипотезы. Такой метод не вызывает сомнений методологического характера *до тех пор*, пока исследователь отчетливо осознает, что идеально-типическую *конструкцию* развития, с одной стороны, и *историю* — с другой, следует строго разделять и что в данном случае упомянутая конструкция служила просто средством совершить по заранее *обдуманному* намерению *значимое* сведение исторического явления к его действительным причинам, возможное, как нам представляется, при существующем состоянии нашего знания.

Отчетливо видеть подобную грань затрудняет подчас, что нам известно из опыта, одно обстоятельство: конструируя идеальный тип или идеально-типическое развитие, исследователи часто пытаются придать им большую отчетливость посредством привлечения в качестве иллюстрации эмпирического материала исторической действительности. Опасность этого самого по себе вполне законного метода заключается в том, что историческое знание *служит* здесь теории, тогда как должно быть наоборот. Теоретик легко склоняется к тому, чтобы рассматривать данное отношение как само собой разумеющееся или, что еще хуже, произвольно подгонять теорию и историю друг к другу и просто не видеть различия между ними. Еще резче такие попытки дают о себе знать в том случае, если идеальная конструкция развития и понятийная классификация идеальных типов определенных культурных образований насильственно объединяются в рамках *генетической* классификации. (Например, формы ремесленного производства идут в такой классификации от «замкнутого домашнего хозяйства», а религиозные понятия от «созданных на мгновение божков».) Последовательность типов, полученная посредством выбранных

понятийных признаков, выступает тогда в качестве необходимой, соответствующей закону исторической последовательности. Логический строй понятий, с одной стороны, и эмпирическое упорядочение понятого в пространстве, во времени и в причинной связи — с

[403]

другой, оказываются тогда в столь тесном сцеплении друг с другом, что искушение совершить насилие над действительностью для упрочения реальной значимости конструкции в действительности становится почти непреодолимым.

Мы сознательно отказались здесь от того, чтобы привести наиболее важный для нас пример идеально-типической конструкции — мы имеем в виду концепцию *Маркса*. Это сделано из тех соображений, чтобы не усложнять еще больше наше исследование интерпретациями Марксова учения, чтобы не опережать события, так как наш журнал ставит перед собой задачу постоянно давать критический анализ всей литературы об этом великом мыслителе и всех работ, продолжающих его учение. Вот почему мы здесь только констатируем то обстоятельство, что все специфические марксистские «законы» и конструкции процессов развития (в той мере, в какой они свободны от теоретических ошибок) идеально-типичны по своему характеру. Каждый, кто когда-либо работал с применением марксистских понятий, хорошо знает, как высоко неповторимое *эвристическое* значение этих идеальных типов, если пользоваться ими для *сравнения с действительностью*, но в равной мере знает и то, насколько они могут быть опасны, если рассматривать их как эмпирически значимые или даже реальные (то есть по существу метафизические) «действующие *силы*», «тенденции» и т. д.

Для иллюстрации безграничного переплетения понятийных методических проблем, существующих в науках о культуре, достаточно привести такую шкалу понятий: родовые понятия; идеальные типы: идеально-типические родовые понятия; идеи в качестве эмпирически присущих историческим лицам мысленных связей; идеальные типы этих идей; идеалы исторических лиц; идеальные типы этих идеалов: идеалы, с которыми историк соотносит историю; *теоретические* конструкции, пользующиеся в качестве иллюстрации эмпирическими данными; *историческое* исследование, использующее теоретические понятия в качестве пограничных идеальных случаев. К этому перечню следует добавить множество различных сложностей, на которые здесь можно лишь указать, таких, как различные мысленные образования, отношение которых к эмпирической реальности непосредственно данного в каждом отдельном случае весьма Проблема-

[404]

тично. В нашей статье, цель которой состоит только в том, чтобы поставить проблемы, мы вынуждены отказаться от серьезного рассмотрения практически важных вопросов методологии, таких, как отношение идеально-типического познания к познанию закономерностей, идеально-типических понятий к коллективным понятиям и т. д.

Несмотря на все приведенные указания, историк будет по-прежнему настаивать на том, что господство идеально-типической формы образования понятий и конструкций является специфическим симптомом молодости научной дисциплины. С таким утверждением можно в известной степени согласиться, правда, делая при этом иные выводы. Приведем несколько примеров из других наук. Конечно, задерганный школьник так же, как начинающий филолог, представляет себе язык сначала «*органически*», то есть как подчиненную нормам над-эмпирическую *целостность*, задача науки — установить, что же *следует* считать правилами речи. Первая задача, которую обычно ставит перед собой «филология», — это логически обработать «письменный язык», как было сделано, например, в Accademia della Crusca; свести его содержание к *правилам*. И если сегодня один ведущий филолог заявляет, что объектом филологии может быть «язык *каждого человека*», то сама постановка такого вопроса возможна только после того, как в письменной речи дан относительно установившийся идеальный тип, которым можно оперировать в исследовании многообразия *языка*, принимая его хотя бы в виде молчаливой предпосылки: без этого исследование будет лишено границ и ориентации. Именно так функционируют конструкции в естественноправовых и органических теориях государства,

или, возвращаясь к идеальному типу в нашем понимании, такова теория античного государства у Б. Констана; они служат как бы необходимой гаванью до той поры, пока исследователи не научатся ориентироваться в безбрежном море эмпирических данных. Зрелость науки действительно всегда проявляется в *преодолении* идеального типа, в той мере, в какой он мыслится как эмпирически значимый или как *родовое понятие*. Однако использование остроумной конструкции Констана для выявления известных сторон античной государственной жизни и ее исторического своеобразия совершенно оправданно и в наши дни, если помнить об

[405]

идеально-типическом характере этой конструкции. Есть науки, которым дарована вечная молодость, и к ним относятся все *исторические* дисциплины, перед ними в вечном движении культуры все время возникают новые проблемы. Для них главную задачу составляют преходящий характер *всех* идеально-типических конструкций и *вместе с тем* постоянная неизбежность создания *новых*.

Постоянно предпринимаются попытки установить «подлинный», «истинный» смысл исторических понятий, и нет им конца. Поэтому синтезы, используемые историей, всегда либо только относительно определенные понятия, либо — если необходимо придать понятию содержанию однозначность — понятие становится абстрактным идеальным типом и тем самым оказывается теоретической, следовательно, «односторонней» точкой зрения, которая способна осветить действительность, с которой действительность может быть соотнесена, но которая, безусловно, непригодна для того, чтобы служить схемой, способной полностью охватить действительность. Ведь ни одна из таких мысленных систем, без которых мы не можем обойтись, постигая какую-либо важную составную часть действительности, не может исчерпать ее бесконечного богатства. Все они являют собой не что иное, как попытку внести порядок на данном уровне нашего знания и имеющихся в нашем распоряжении понятийных образований в хаос тех фактов, которые мы включили в круг наших *интересов*. Мыслительный аппарат, который разработало прошлое посредством мысленной обработки, а в действительности путем мысленного *преобразования* непосредственно данной действительности и включения ее в понятия, соответствующие познанию и направлению интереса того времени, всегда противостоят тому, что мы можем и *хотим* извлечь из действительности с помощью нового познания. В этой борьбе совершается прогресс исследования в науках о культуре. Его результат — постоянно идущий процесс преобразования тех понятий, посредством которых мы пытаемся постигнуть действительность. Вот почему история наук о социальной жизни — это постоянное чередование попыток мысленно упорядочить факты посредством разработки понятий, разложить полученные в результате такого упорядочения образы посредством расширения и сдвига научного горизонта, и попытки образовать новые понятия на такой измененной

[406]

основе. В этом проявляется не несостоятельность попытки *вообще* создавать системы понятий — каждая наука, в том числе и только описательная история, работает с помощью комплекса понятий своего времени, — в этом находит свое выражение то обстоятельство, что в науках о человеческой культуре образование понятий зависит от места, которое занимает в данной культуре рассматриваемая проблема, а оно может меняться вместе с содержанием самой культуры. В науках о культуре отношение между понятием и понятием таково, что синтез всегда носит преходящий характер. Значение попыток создать крупные понятийные конструкции в нашей науке заключается, как правило, именно в том, что они демонстрируют границы значения той точки зрения, которая лежит в их основе. Самые далеко идущие успехи в области социальных наук связаны в своей *сущности* со сдвигом практических культурных проблем и облечены в форму критики образования понятий. Одна из важнейших задач нашего журнала будет состоять в том, чтобы служить цели этой критики и тем самым исследованию *принципов синтеза* в области социальных наук.

Итак, следуя сказанному выше, можно прийти к пункту, по которому наши взгляды в ряде случаев отличаются от взглядов отдельных выдающихся представителей исторической школы, к

воспитанникам которой мы причисляем и себя. Дело в том, что они открыто или молчаливо придерживаются мнения, что конечной целью, назначением каждой науки является упорядочение ее материала в систему понятий, содержание которых надлежит получать и постепенно совершенствовать посредством наблюдения над эмпирической закономерностью образования гипотез и их верификации вплоть до того момента, когда это приведет к возникновению «завершенной» и *поэтому* дедуктивной науки. Индуктивное исследование современных историков, обусловленное несовершенством нашей науки, служит якобы предварительной стадией в достижении указанной цели. Ничто не должно, естественно, представляться с такой точки зрения более сомнительным, чем образование и применение четких понятий, которые как бы опрометчиво предваряют упомянутую цель далекого будущего. Принципиально неопровержимой была бы эта точка зрения на почве антично-схоластической теории познания: ее основные положения до сих пор прочно коренятся в мышле-

[407]

нии основной массы исследователей исторической школы: предполагается, что понятия должны быть *отражениями* «объективной» действительности, своего рода представлениями о ней; отсюда и постоянно повторяющееся указание на *нереальность* всех четких понятий. Тот, кто до конца продумает основную идею восходящей к Канту современной теории познания, согласно которой понятия суть и только и могут быть мысленными средствами для духовного господства над эмпирической данностью, не увидит в том обстоятельстве, что четкие генетические понятия неизбежно являются идеальными типами, основание для отказа от них. Для такого исследователя отношение между понятием и историческим изучением станет обратным вышеназванному: та конечная цель представится ему логически невозможной, понятия для него — не *цель*, а *средства* достижения цели, которая являет собой познание значимых под индивидуальным углом зрения связей. Именно *потому*, что содержание исторических понятий необходимым образом меняется, они должны быть каждый раз четко сформулированы. Исследователь будет стремиться к тому, чтобы в *применении* понятий всегда тщательно подчеркивался их характер идеальных мысленных конструкций, чтобы идеальный тип и история строго различались. Поскольку при неизбежном изменении ведущих ценностных идей разработка действительно определенных понятий, которые служили бы общей конечной целью, невозможна, упомянутый исследователь будет верить, что именно посредством образования четких, однозначных понятий для любой *отдельной* точки зрения создается возможность ясно осознать *границы* их значимости.

Нам скажут (и мы уже раньше согласились с этим), что в отдельном случае конкретная историческая связь вполне может быть отчетливо показана без постоянного ее сопоставления с определенными понятиями. И поэтому сочтут, что историк в нашей области может, подобно исследователю в области политической истории, говорить «языком повседневной жизни». Конечно! К этому надо только добавить следующее: при таком методе *более чем* вероятно, что ясное осознание точки зрения, с которой рассматриваемое явление обретает значимость, может быть только случайностью. Мы не находимся обычно в таких благоприятных условиях, как исследователь политической истории, который, как правило,

[408]

соотносит свое изложение с однозначным — или кажущимся таковым — содержанием культуры. Каждое чисто описательное изложение события всегда носит в какой-то степени *художественный* характер. «Каждый видит то, что он хранит в сердце своем» — значимые *суждения* всегда предполагают *логическую* обработку увиденного, то есть применение *понятий*. Можно, разумеется, скрыть их *in petto*^{*}, в этом есть даже известное эстетическое очарование, однако такого рода действия, как правило, дезориентируют читателя, а подчас оказывают и отрицательное влияние на веру автора в плодотворность и значимость его суждений.

* В глубине своей души (лат.). — Прим. перев.

Самую серьезную опасность представляет отказ от образования четких понятий при вынесении практических соображений экономического и социально-гаулыги-ческого характера. Неспециалисту трудно даже вообразить, какой хаос внесло, например, применение термина «ценность», этого злополучного детища нашей науки, которому какой-либо однозначный смысл вообще может быть придан *только* в идеально-типическом смысле, или применение таких слов, как «продуктивно», «с народнохозяйственной точки зрения», которые вообще не допускают анализа, пользующегося четкими понятиями. Причем вся беда сводится именно к употреблению заимствованных из повседневного языка *коллективных* понятий. Для того чтобы наша мысль стала понятной и неспециалистам, остановимся на таком, известном еще со школьной скамьи понятии, как «сельское хозяйство», в том его значении, которое оно имеет в словосочетании «интересы сельского хозяйства». Возьмем сначала «интересы сельского хозяйства» как эмпирически констатируемые, более или менее ясные *субъективные* представления о своих интересах отдельных хозяйствующих индивидов; при этом мы совершенно оставляем в стороне бесчисленные столкновения интересов, связанные с разведением племенного скота или с производством животноводческих продуктов, с выращиванием зерна или с расширением кормовой базы, с дистиллированием продуктов брожения зерна и т. п. Если не каждому человеку, то специалисту, во всяком случае, хорошо известно, какой сложный узел сталкивающихся противоречивых ценностных отношений образуют смутные пред-

[409]

ставления о данном понятии. Перечислим лишь некоторые из них: интересы земледельцев, собирающихся продать свое хозяйство и поэтому заинтересованных в быстром повышении цен на землю; прямо противоположные интересы тех, кто хочет купить, увеличить или арендовать участок, интересы тех, кто хочет сохранить определенную землю для своих потомков из соображений социального престижа и, следовательно, заинтересован в стабильности владения землей; противоположная позиция тех, кто в личных интересах и интересах своих детей стремится к тому, чтобы земля перешла в собственность наилучшего хозяина или — что не совсем то же самое — покупателя, обладающего наибольшим капиталом; чисто экономический интерес «самых рачительных» в частнохозяйственном смысле хозяев, заинтересованных в свободном движении товаров внутри экономической сферы; сталкивающийся с этим интерес определенных господствующих слоев в сохранении унаследованной социальной и политической позиции своего сословного «статуса» и «статуса» своих потомков; социальные чаяния *не* господствующих слоев среди сельских хозяев, которые заинтересованы в освобождении от стоящих над ними, оказывающих давление на них слоев; в ряде случаев противоположное указанному стремление обрести в высших слоях политического вождя, который действовал бы в их интересах. Наш перечень можно было бы продолжить, не достигнув и в этом случае завершения, хотя мы строили его в самых общих чертах и отнюдь не стремились к точности. Мы не касаемся здесь того факта, что с перечисленными выше как будто чисто «эгоистическими» интересами могут сочетаться, связываться, могут служить им препятствием или отвлекать их в сторону самые различные идеальные ценности, и напоминаем только что, говоря об «интересах сельского хозяйства», мы обычно имеем в виду *не только* те материальные и идеальные ценности, с которыми сами земледельцы связывают свои «интересы», но и те подчас совершенно гетерогенные им ценностные идеи, с которыми *мы* соотносим сельское хозяйство. Таковы, например: производственные интересы, связанные с заинтересованностью в предоставлении населению дешевых и, что не всегда совпадает, хороших по своему качеству продуктов питания,— при этом между интересами города и деревни могут возникать самые разнообразные коллизии, а инте-

[410]

ресы поколения данного периода времени совсем не обязательно должны совпадать с предполагаемыми интересами будущих поколений; различные демографические теории, особенно заинтересованность в *многочисленном* сельском населении, связанная будь то с «государственными» интересами, проблемами политической власти или внутренней политики

или с другими идеальными, различными по своему характеру интересами, в том числе предполагаемым влиянием растущей численности сельского населения на специфику культуры данной страны; этот демографический интерес в свою очередь может прийти в столкновение с различными частнохозяйственными интересами всех слоев сельского населения, даже с интересами всей массы сельского населения в данное время. Речь может также идти о заинтересованности в определенном социальном *расслоении* сельских жителей ввиду того, что это может быть использовано как фактор политического или культурного влияния — такой интерес в зависимости от его направленности может прийти в столкновение со всеми мыслимыми, самыми непосредственными интересами как отдельных хозяев, так и «государства» в настоящем и будущем. И наконец,— что еще усложняет положение дела — «государство», с «интересами» которого мы склонны связывать эти и многие другие подобные отдельные интересы, часто служит просто маскировкой очень сложного переплетения ценностных идей, с которыми мы соотносим его по мере необходимости, с такими, как чисто военные соображения безопасности границ; обеспечение господствующего положения династии или определенных классов внутри страны; сохранение и укрепление формального государственного единства и нации в интересах самой нации или для того, чтобы сохранить определенные объективные, весьма различные по своей природе, культурные ценности, которые мы, как нам кажется, олицетворяем в качестве объединенного в государство народа; преобразование социального строя государства в соответствии с определенными, также весьма различными культурными идеалами. Если бы мы попытались только указать на все то, что входит в собирательное понятие «государственные интересы», с которым мы можем соотнести «сельское хозяйство», это завело бы нас слишком далеко. Взятый нами пример, и еще в большей степени наш суммарный анализ, груб и элементарен. Пусть не-

[411]

специалист сам попытается подобным же образом (и основательнее, чем это сделали мы) проанализировать понятие «классовые интересы рабочих», и он увидит, какой узел противоречивых интересов и идеалов рабочих, с одной стороны, идеалов, под углом зрения которых *мы* рассматриваем положение рабочих, — с другой, содержится в данном понятии. Преодолеть лозунги, провозглашаемые в ходе борьбы интересов, чисто эмпирическим акцентированием их «относительности» невозможно. Единственный способ выйти из сферы ничего не значащих фраз — это установить ясные, строгие понятия различных *возможных* точек зрения. «Аргументация свободы торговли» в качестве *мировоззрения* или значимой *нормы* — нелепость, однако то, что мы недооценили эвристическую ценность древней жизненной мудрости величайших коммерсантов мира, выраженной в их идеально-типических формулах, принесло большой вред нашим исследованиям в области торговой политики совершенно независимо от того, *какими* идеалами торговой политики стремится руководствоваться тот или иной человек. Лишь благодаря идеально-типическим понятийным формулам становятся действительно отчетливыми в своем своеобразии те точки зрения, которые рассматриваются в каждом конкретном случае, так как их своеобразие раскрывается посредством *конфронтации* эмпирических данных с идеальным типом. Использование же недифференцированных коллективных понятий, присущих языку повседневной жизни, как правило, маскирует неясность мышления или волнения, часто служит орудием сомнительных ухищрений и всегда — средством предотвратить правильную постановку вопроса.

Мы подходим к концу наших рассуждений, преследующих только одну цель — указать на водораздел между наукой и верой, часто очень небольшой, и способствовать пониманию того, в чем *смысл* социально-экономического познания. *Объективная* значимость всякого эмпирического знания состоит в том — и только в том, — что данная действительность упорядочивается по категориям в некоем специфическом смысле *субъективным*, поскольку, образуя *предпосылку* нашего знания, они связаны с предпосылкой *ценности* истины, которую нам может дать только опытное знание. Тому, для кого эта истина не представляется ценной (ведь вера в ценность науч-

ной истины не что иное, как продукт определенной культуры, а совсем не данное от природы свойство), мы средствами нашей науки ничего не можем предложить. Напрасно, впрочем, будет он искать другую истину, которая заменила бы ему науку в том, что может дать только *она* - понятия и суждения, не являющиеся эмпирической действительностью и не отражающие ее, но позволяющие должным образом *мысленно ее упорядочить*. В области эмпирических социальных наук о культуре возможность осмысленного познания того, что существенно для нас в потоке событий, связана, как мы видели, с постоянным использованием специфических в своей особенности точек зрения, соотносящихся в конечном итоге с идеями ценностей, которые, будучи элементами осмысленных человеческих действий, допускают эмпирическую констатацию и сопереживание, но *не* обоснование в своей значимости эмпирическим материалом. «Объективность» познания в области социальных наук характеризуется тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными идеями, только и создающими познавательную *ценность* указанных наук, позволяющими понять значимость этого познания, но не способными служить доказательством их значимости, которое не может быть дано эмпирически. Присущая нам всем в той или иной форме *вера* в над-эмпирическую значимость последних высочайших ценностных идей, в которых мы видим смысл нашего бытия, не только не исключает бесконечного изменения конкретных точек зрения, придающих значение эмпирической действительности, но включает его в себя. Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней *возможные* значения неисчерпаемы, *конкретные* формы отнесения к ценности не могут быть поэтому постоянными, они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное будущее человеческой культуры. Свет, расточаемый такими высочайшими ценностными идеями, падает на постоянно меняющуюся конечную связь чудовищного хаотического потока событий, проносащегося сквозь время.

Из всего этого не следует, конечно, делать ложный вывод, будто задача социальных наук состоит в непрерывных поисках новых точек зрения и понятийных конструкций. *Напротив*, мы со всей решительностью подчеркиваем, что главная цель образования понятий и их критики состоит в том, чтобы служить (наряду с другими

средствами) познанию *культурного значения конкретных исторических связей*. Среди исследователей социальной действительности также есть «сторонники фактов» и «сторонники смысла» (по терминологии ф. Т. Фишера). Ненасытная жажда фактов, присущая первым, может быть удовлетворена только материалами актов, фолиантами статистических таблиц и анкетами — тонкость новых идей недоступна их восприятию; изоэтрность мышления приводит сторонников второй группы к утрате вкуса к фактам вследствие непрерывных поисков все более «дистиллированных» мыслей. Подлинное мастерство — среди историков им в громадной степени обладал, например, Ранке — проявляется обычно именно в том, что *известные* факты соотносятся с хорошо известными точками зрения и между тем создается нечто новое.

В век специализации работа в области наук о культуре будет заключаться в том, что, выделив путем постановки проблемы определенный материал и установив свои методические принципы, исследователь будет затем рассматривать обработку этого материала как самоцель, не проверяя более познавательную ценность отдельных фактов посредством сознательного отнесения их к последним идеям и не размышляя вообще о том, что вычленение изучаемых фактов ими обусловлено. Так и должно быть. Однако наступит момент, когда краски станут иными: возникнет неуверенность в значении бессознательно применяемых точек зрения, в сумерках будет утерян путь. Свет, озарявший важные проблемы культуры, рассеется вдали. Тогда и наука изменит свою позицию и свой понятийный аппарат, с тем чтобы взирать на поток событий с вершин человеческой мысли. Она последует за теми созвездиями, которые только и могут придать ее работе смысл и направить ее по должному пути.

...Растет опять могучее желанье

Лететь за ним и пить его сиянье,
Ночь видеть позади и день перед собой,
И небо в вышине, и волны под ногами* .

Перевод Н. Холодковского

[414]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Там, где в первом разделе данной статьи речь идет от имени редакции или об определенных задачах «Архива», я высказываю, конечно, не свое личное мнение, а совместно продуманные соображения сотрудников редакции. Ответственность за второй раздел по его форме и содержанию полностью несую только я, как автор статьи.

То, что «Архив» никогда не будет идти проторенной колеей ходячих мнений, гарантируется отсутствием полной идентичности во взглядах даже методологического характера не только его сотрудников, но и членов редакции. Вместе с тем, конечно, известное единодушие в основных мнениях было обязательной предпосылкой согласия на совместную работу в редакции журнала. Это единодушие распространяется прежде всего на такие вопросы, как ценность *теоретического* познания с «односторонних» точек зрения, *образование точных понятий* и строгое *разделение эмпирического знания и оценочного суждения* — все то, что здесь без какой-либо претензии на «новизну» требований предлагается вниманию читателей.

Пространность изложения в ряде мест второго раздела статьи и многократное повторение одной и той же мысли преследуют только одну цель — достигнуть наибольшей *понятности*. Этому желанию в значительной степени (надеюсь, не в слишком значительной) принесена в жертву точность выражения: исходя из нее, мы отказались и от попытки дать *систематическое* исследование проблемы, заменив его сопоставлением нескольких методологических точек зрения. Это потребовало бы постановки множества еще значительно более глубоких гносеологических проблем. Мы не занимаемся здесь логикой, а стремимся использовать в нашей работе известные выводы современной логики, не решаем проблемы, а знакомим неспециалиста с их значением. Те, кому известны труды современных логиков — достаточно назвать Виндельбанда, Зиммеля, а для нашей цели в первую очередь Генриха Риккерта, — сразу увидят, что во всех существенных вопросах мы опираемся на их теоретические идеи.

2. Речь идет об «Архиве социальных наук и социальной политики», в редакцию которого в 1904 г. вошли Э. Яффе, В. Зомбарт и Макс Вебер.

[415]

Текст приводится по изданию:

Избранные произведения: Пер. с нем./Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайдено. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с.— (Социологич. мысль Запада).

* Гёте. Фауст. Птб., 1980, с. 49.—Прим. перев.